



Неизвестный

АЛЕКСЕЕВ

неизданные произведения
культового автора середины XX века

Геннадий Алексеев

**Неизвестный Алексеев.
Том 1: Неизданная проза
Геннадия Алексеева**

«Геликон Плюс»

2014

Алексеев Г. И.

Неизвестный Алексеев. Том 1: Неизданная проза Геннадия Алексеева / Г. И. Алексеев — «Геликон Плюс», 2014

ISBN 978-5-93682-929-1

Геннадий Алексеев (1932–1987) – незабываемый, но самый «малоизданный» культовый автор середины XX века, основоположник российского верлибра, прозаик, поэт, художник. Книга неизданных произведений включает дневники Алексеева и экспериментальный роман «Конец света». Новизна романа, его стилистика – ослепительны, хотя со времени написания прошло более четверти века. Дневники – не только прекрасная проза, но свидетельство эпохи конца 60-х – начала 70-х, критические заметки, и превосходные зарисовки.

ISBN 978-5-93682-929-1

© Алексеев Г. И., 2014

© Геликон Плюс, 2014

Содержание

Геннадий Иванович Алексеев	6
От издателя	10
Дневники	11
1958	11
1959	12
1960	15
1961	18
1962	31
1963	36
1964	50
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Геннадий Алексеев
Неизвестный Алексеев. Неизданная
проза Геннадия Алексеева (сборник)

© Алексеев Г. И. (наследники), 2014

© «Геликон Плюс», макет, 2014.

Геннадий Иванович Алексеев

День его рождения был в самом расцвете белых ночей – 18 июня. Обычно в этот день собирались одни и те же друзья Геннадия Ивановича, многие из которых встречались между собою только на этих днях рождения, – несколько литераторов и архитекторов, один физик (он курил трубку) и одна женщина-театровед из музея Шалапина.

Обстановка на этих праздниках была поначалу несколько чопорной. Собираясь, говорили об искусстве и политике, затем хозяин приглашал: «Господа, прошу к столу». Он употреблял это слово, с натугой входящее в наш обиход в девяностых годах, еще тогда – в семидесятых, и странным образом оно не казалось фальшивым или напыщенным в его устах. Он вообще выглядел, говорил, вел себя, как русский интеллигент конца прошлого – начала нынешнего веков, эпохи модерна, блестящим профессиональным знатоком которой он был. Пили изысканные вина, произносили витиеватые тосты, ухаживали за дамами, слушали новые стихи хозяина... Короче говоря, чувствовали себя в литературном салоне и непонятно в каком времени, ибо за окнами была застойная брежневская эпоха, в которой каждый из присутствующих находил свой способ существования, а за столом царило Искусство. Непременный тост хозяина звучал так: «За святое Искусство, господа!»

Это был андеграунд особого рода, отличный от андеграунда котельных и рок-тусовок. Скажем так, респектабельный андеграунд, ибо за столом сидели кандидаты наук, искусствоведения, члены Союза писателей, зарабатывающие невеликие, но вполне сносные деньги своим профессиональным трудом. Сам Алексеев служил доцентом в Инженерно-строительном институте и читал курс «Всемирная история искусств».

Андеграундом этих людей делало их нежелание продавать творчество. Они продавали только профессионализм. Скажем, литератор зарабатывал деньги литературным трудом, но как автор сценариев научно-популярного кино, большинство же его прозаических сочинений лежало в столе. Другой вовсе не печатался, но был профессиональным строителем или программистом. Но они не переставали делать попыток пробиться в мир признанной литературы, правда, не любой ценой, а их собратья в котельных были более последовательны и такие попытки прекратили, довольствуясь самиздатом.

Геннадий Алексеев начал печататься как поэт после сорока, имея несметное число написанных стихотворений. Мы и познакомились, благодаря его стихам, которые я отметил в сборнике «День поэзии» за 1972 год. Очень неожиданные были стихи для того времени.

Позвонили.
Я открыл дверь
и увидел глазастого,
лохматого,
мокрого от дождя
Демона.

– Михаил Юрьевич Лермонтов
здесь живет? – спросил он.
– Нет, – сказал я, —
вы ошиблись квартирой.
– Простите! – сказал он
и ушел,
волоча по ступеням
свои гигантские,

черные,
мокрые от дождя
крылья.

На лестнице
запахло звездами.

Эти и подобные им совершенно невинные в политическом смысле, но считавшиеся модернистскими стихи в ту пору напечатать было почти невозможно, Первая книга Алексеева вышла в 1976 году, когда «молодому» автору было сорок два года, да и вышла она, благодаря поддержке М. А. Дудина.

Что же отпугивало редакторов в этих стихах?

Во-первых, верлибр. Алексеев писал почти исключительно верлибром, хотя в юные годы пробовал и умел писать в рифму и правильным метром. Мне кажется, что ему удалось то, что не удавалось многим поэтам, пробовавшим ввести верлибр в русский стихотворный обиход. Алексеев создал органичную по отношению к русскому языку систему верлибра – единственную в своем роде. Кто читал много его стихов, понимает, о чем идет речь. Это особый язык, особая интонация, повторы, ритмика – все вместе это давало совершенно удивительный результат.

Во-вторых, ирония и абсурд в соединении с глубочайшим, библейским пессимизмом стихов. Это было посерьезнее верлибра.

В-третьих, несомненное противостояние, которое обнаруживалось в каждой строчке стихов – противостояние художественное, личное, историческое, политическое.

Он писал много. В день по два, по три стихотворения. Может быть, столько не нужно. Но он не ждал вдохновения, а просто работал. Написав стихотворение на машинке, правил его от руки и перепечатывал набело на той же машинке. После чего стихотворение исчезало в нужной папке с тем, чтобы появиться в конце года в итоговом сборнике, которые автор сам перепечатывал и переплетал.

Геннадий Иванович был редчайшим аккуратистом. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не мог обнаружить на его письменном столе следов какого-нибудь беспорядка. Будто предвидя свою скоростижную смерть, он вел дела так, чтобы в любую минуту можно было подвести черту. Рукописи, фотографии, картины, слайды, дневники содержались в величайшем порядке. Поэтому и успевал много сделать, что никогда не торопился и никогда ничего не искал. Все было на своем месте.

Он был эстетом во всем. Причем его эстетизм не раздражал, как обычно, когда предмет эстетического восхищения стараются отмыть, отскрести от всего «грязного», сделать полностью рафинированным. Алексеев обнаруживал красоту в самом обыденном, он делал объектом эстетического исследования самые простые и даже вульгарные вещи и явления.

Каждый вечер
на нашей лестнице
собиралась компания
молодых людей.
Они пили водку,
мочились на стенку
и хохотали над человечеством.

Каждое утро,
когда я шел на работу,

на лестнице валялись бутылки
и пахло мочой.

Как-то я сказал молодым людям:
Пейте на здоровье свою водку,
но не стоит мочиться на стенку —
это некрасиво,
а над человечеством
надо не смеяться,
а плакать.

С тех пор на нашей лестнице
молодые люди пьют водку,
навзрыд плачут над человечеством
и изнемогают от желания
помочиться на стенку.
Изнемогают, но не мочатся.

Картины Алексеева, которыми была увешана вся его двухкомнатная квартира на Наличной, тоже представляют собой, как и стихи, законченный художественный мир со своими отработанными композиционными приемами, живописной техникой, сюжетами.

Их отличает геометрическая правильность построения с центрально-симметрической, как правило, композицией, в которой есть некий необъяснимый магнетизм. На эти картины смотришь долго, как на медитативный объект, не пытаясь объяснять себе тайну этого притяжения. Написанные в простой и недолговечной технике (темпера, картон), они излучают свет, что особенно хорошо видно в условиях недостаточной освещенности, когда ступенчатые градации цвета сливаются в непрерывный, плавный переход от тени к свету.

Впрочем, рассказывать о картинах еще более неблагоприятное занятие, чем рассказывать о стихах.

Несмотря на разносторонние интересы, Геннадий Иванович был весьма цельной натурой с очень продуманными эстетическими взглядами. Например, он считал традиционный русский рифмованный стих устаревшим морально и не случайно избрал верлибр, полагая за ним будущее русского стихосложения. В качестве доказательства приводил западную поэзию. Здесь мы с ним расходились во взглядах, хотя, повторяю, верлибр Алексеева представлялся мне чрезвычайно удачным опытом именно для русского языка. Вообще он предпочитал и прекрасно знал авангардные формы литературы и живописи, при этом будучи знатоком античности, Ренессанса и всего классического наследия, которое он преподносил студентам в своем курсе.

В последние годы жизни Алексеева мы стали видеться с ним реже, он, как мне кажется, ушел в себя, стал мрачнее обычного, сразу как-то постарел. Я думаю, кроме болезни сердца, его чрезвычайно травмировало невнимание к нему критики. Выходили книжки, были регулярные публикации в журналах, но серьезная критика практически молчала об Алексееве, не замечая или не желая понять его новаторства. Читатели, впрочем, понимали лучше. У Геннадия Ивановича сразу образовался сравнительно узкий, но преданный круг горячих поклонников и поклонниц. Это несколько поднимало ему настроение, однако он продолжал считать себя безвестным и недооцененным поэтом. Так, в сущности, и было.

Его судьба чрезвычайно схожа с судьбой другого русского поэта – Иннокентия Анненского. То же спокойное с виду, размеренное и академичное внешнее существование. Тот же недооцененный современниками, но ясный потомкам значительный вклад в русскую поэзию.

Тот же интерес к античности. Та же, увы, болезнь сердца, приведшая обоих к преждевременному и скоропостижному концу в одинаковом возрасте – 54 года.

Проза Алексеева продолжает его стихи. Она так же лапидарна, ритмична, лишена украшений, действенна. Дневник Алексеева, который он вел регулярно и выдержки из которого мне часто зачитывал – это прекрасная проза с чрезвычайно точными и тонкими суждениями о литературе и нравах, это достоверный документ о покинувшей нас эпохе семидесятых-восемидесятых годов. Он ждет своего опубликования, как и многие стихи, оставшиеся в столе, как и картины Алексеева, как его рисунки и книга о русском архитектурном модерне.

Квартира, в которую он переехал с семьей незадолго до смерти, имела несчастливый номер – 13. В ней он и умер в один миг, придя вечером с филармонического концерта и зайдя в кухню согреть чаю. Это случилось в марте 1987 года. Похоронили Геннадия Ивановича на Охтинском, там же, где похоронена героиня его поэмы «Жар-птица». На похоронах было множество его студентов, коллег и читателей.

В один печальный туманный вечер
до меня дошло,
что я не бессмертен,
что я непременно умру
в одно прекрасное ясное утро.

От этой мысли
не подскочил,
как ужаленный злющей осой,
не вскрикнул,
как укушенный бешеным псом,
не взвыл,
как ошпаренный крутым кипятком,
но, признаться, я отчаянно грустил
от этой
внезапно пронзившей меня мысли
в тот
невыносимо печальный
и на редкость туманный вечер.

Погрустив,
я лег спать
и проснулся прекрасным ясным утром.
Летали галки,
дымили трубы,
грохотали грузовики.
«Может быть, я все же бессмертен? —
подумал я. —
Всякое бывает».

*Александр Житинский,
1996 г.*

От издателя

Издание этого тома было давно задумано А. Н. Житинским. Ранее он уже опубликовал роман Геннадия Ивановича Алексеева «Зеленые берега» (1996) и книгу его избранных стихотворений (2006). Житинский любил и высоко ценил творчество своего друга и мечтал как можно более полно донести его до читателя. Справедливости ради надо сказать, что не смотря на малое количество публикаций, Г. И. Алексеев не забыт, круг его почитателей был хоть и не очень широк, но абсолютно предан и верен ему, а за последние четверть века только вырос.

Огромная работа по подготовке текстов, оцифровке фотографий Алексеева и его архива была бы невозможна без помощи наследников Геннадия Ивановича – его жены Майи и дочери Анны – и одного из его ближайших друзей, архитектора Александра Товбина.

По понятным причинам из дневников при публикации извлечены отдельные личные записи.

Роман «Конец света», над которым Алексеев работал последние годы, дописан, но работа над ним была еще далека от завершения. Поэтому мы взяли на себя смелость представить роман читателям с последними внесенными правками и незначительной редактурой. Надеемся, что наше вмешательство в текст было минимальным и предельно бережным.

Дневники

1958

14.12

Сегодня морозно. Ходили гулять. Долго шли по набережной. У пирса стоят заиндевевшие шхуны. Ниже моста Шмидта Нева не замерзла – плывет «сало». От воды подымается пар. Курятся дымки камбузов на кораблях. Встретили женщину с двумя мальчиками – все на лыжах: Мама учит детей правильному шагу. Перешли Неву, на Мойке пришли к дому Блока. Постояли, помолчали. На небольшой доске из белого мрамора написано черными буквами: «Здесь в 1912–1921 годах жил и 6 августа 1921 года умер Александр Блок». Хорошо, что так просто: Александр Блок. В квартире его кто-то живет – на окнах тюлевые занавески.

20.12

Идет звучащий снег. Собственно, это не снег, а замерзший дождь. Нечто вроде града, но не град. Он издает приятный мелодичный звук – не то звон, не то шелест.

25.12

Ремарк, «Три товарища».

Есть некий поезд, несущийся в неизвестность. Каждый бежит по платформе, стараясь ухватиться за поручень и вскочить на подножку, но обрывается и падает. А поезд уходит. Жизнь – это бег, короткий бег по платформе.

1959

1.1

Новый год встретили у Ж. Весело не было. Часа три я спорил со скульптором О. об искусстве. Глупый был спор.

17.1

Перечитал De Profundis Уайльда.

Христос – родоначальник романтического искусства. Мир – театр. Верующий – актер, всю жизнь играющий роль в возвышенной драме.

У Толстого в «Живом труп» Федя Протасов говорит про свои отношения с женой, что не было игры в их жизни. Без игры нельзя. Без игры очень трудно.

24.1

Пришел человек, которого зовут Лева М. Пришел и наговорил мне совершенно чудовищных комплиментов. Сказал, что меня знает вся московская интеллигенция, – предпринимаются решительные шаги и отчаянные попытки. Я слушал его, разинув рот. Потом я провожал его на вокзале. Он был пьян. Когда поезд тронулся, он обнял меня, вскочил на ступеньку вагона и как-то странно захохотал. Мне стало не по себе.

Был в редакции «Звезды». Решетов сказал, что мои стихи ему понравились и он предложит их редколлегии.

6.3

Редколлегия «Звезды» отвергла мои стихи. Нужны «новые темы».

29.3

Читаю «Жана Баруа» Дю Гара. Книга входит в меня, как острый гвоздь в сухую сосну. Надо чаще слушать хорошую музыку.

31.5

У Всеволода Александровича просидел часа три. Говорили о поэзии, живописи. В моих стихах он нашел такие тонкости, о которых я и не подозревал. Дал мне книжку Анненского и статьи по теории стихосложения.

5.6

Вчера на работе ухитрился написать восемь шестистиший. Приехал домой и обнаружил на своем столе пакет из «Невы». В пакете мои рукописи и записка от Кустова: «Неживая поэзия... надуманные эксперименты... несовременно (!)».

20.6

Ездил в Петяярви ловить рыбу. Мой «заповедник» так же дик и безлюден.

Рыбная ловля – это те редкие часы, когда не чувствуешь себя дураком в этом мире.

Мне стукнуло двадцать семь.

28.6

Второй раз был у В. А. Рождественского. Он сказал, что Маяковский поэт средний, а я опоздал родиться – надо было раньше лет на пятьдесят.

5.7

Был у Рождественского в третий раз. Он опять хвалил меня, а на прощанье сунул мне в руку исписанный листок – резюме. Я прочел: «Крупницы истинной поэзии рассеяны, рассыпаны среди изобилия случайного, необязательного, камерно-личного... Талантливый дилетантизм, подступы к своей, значительной теме? Или – по Лермонтову – “мысли тленной раздраженье»”? Ответит лишь время».

10.7

На берегу залива.

Ребятишки ловят окуней. Вдали – краны порта, белые корабли с красными полосами на трубах. Пахнет морем. Из громкоговорителя второй концерт Рахманинова. Я неисправимо сентиментален.

Люблю ли я детей? И что это значит – любить детей? Детей, а не взрослых? Я отношусь к детям, как вообще к людям: люблю умных, красивых, добрых, не люблю капризных, злых, глупых. Сюсюканье с детьми мне противно.

14.7

Одиночество меня выручает. На людях я вяну, глупею.

28.7

Депрессия. Я снова стал маленьким-маленьким. Мысли все какие-то детские, простенькие. И никаких желаний.

Уезжаем в Москву. Дальше – Крым.

6.10

Парк – мое прибежище. Лучше всего осенью, когда на аллеях ни души и по радио хорошая музыка.

Прочел «Петербург» Андрея Белого. Очень пряно, очень густо. Этим кормились, видимо, многие. Линия Гоголя – Достоевского.

Начал сразу четыре поэмы. Но дело идет туго.

23.10

У Понизовского читал стихи Виктор Соснора. Интересно пишет. Сделал вольный перевод «Слова». Был при усах, в черном, военного образца, кителе. Говорят – он граф. Работает электриком на заводе.

26.11

Юродство в крови у каждого русского. Стоит немного выпить – и пошло. Есть юродствующие и в трезвом виде. Чаще всего встречаются пророки. Они и сами верят в свои пророчества.

2.12

Какой-то страшный декабрь начался.

Еду в трамвае. Вскатывает на площадку человек. Я вздрагиваю: сейчас убьет! Почему? Зачем? Не знаю.

Иду пустынной улицей. Впереди кто-то стоит. Так себе стоит, мало ли почему. Но я уверен, что он меня ждет, и в кармане у него – нож.

28.12

Из Москвы прислали письмо и подстрочники персидских поэтов. Предложение работать.

Работаю.

У Толстого: человек обязан быть счастлив. Смешно. Узники Освенцима старались изо всех сил, но оставались несчастными. На улицах, на самых видных местах поставят щиты с гигантскими плакатами: суровое лицо старца с насупленными бровями, палец, уставленный в прохожего, и вопрос: что ты сделал, чтобы стать счастливым? По воскресеньям будут устраивать облавы на несчастных. Каждый несчастный – социально опасный элемент.

Луиза Маршалл – маленькая хромая женщина с хорошим лицом. Здорово пела де Фалью.

1960

25.1

В филармонии люблю смотреть на хрустальные подвески люстр. Они горят разноцветными огнями. Голубой – утро, зеленый – летний день, фиолетовый – зимние сумерки. И все это в какой-то неведомой стране, в том краю, куда мы всю жизнь стремимся и не можем попасть.

4.3

Начало весны. Самое начало. Собственно, весны еще нет, она еще где-то рядом, но от нее исходит сияние. Дни стоят морозные, туманные, вроде бы зимние, но что-то в них новое, какое-то ожидание. И сладко, сладко так сосет под ложечкой.

Шел по Лесному проспекту. Солнце садилось за железнодорожную насыпь. Промчалась электричка. Она была почти пустая. Солнце прыгало в окнах вагонов.

Боюсь слушать музыку. Она приводит меня в болезненное состояние. Кажется, что весь плависься и течешь куда-то жаркой мягкой массой.

4.4

Сон.

Все что-то подразумевалось, что-то ждал я, предчувствовал. Потом вижу – стою на набережной. Впереди дома, крыши. И вдруг там, над крышами, возникла огромная светящаяся Богоматерь с младенцем. Я вроде бы знал, что она появится, но люди не верили. И я говорю им: смотрите, смотрите! А вы не верили! И жутко так и очень значительно все это. А потом был я с каким-то человеком, и он что-то просил у меня. Я сделал то, что он хотел, но он меня предал. И доказательство предательства его зарыто в песке на берегу моря. Собрались люди к этому месту. Я крикнул: «Здесь!» – и топнул ногой о песок, будто от этого все зависело. Но так тяжело, так невыносимо горько стало мне, что я проснулся.

22.4

Перечитывал Бунина. «В ночном море», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Руся» – все это вещи колдовские, необъяснимые. Особенно – «Возвращение в Рим». Всего полторы странички, и в них вся философия, все мучения человеческие, все величие мира.

24.4

Увидел ее издали. Она зашла в магазин. Я стал ждать. Она вышла, прошла совсем рядом и кивнула мне.

Мне кажется, что знал я ее всегда, с раннего-раннего детства. Будто была она мне сестра, а потом стала моей любовницей и женой. А потом – умерла. Это тень ее я встречаю иногда на улицах. Сама она где-то там, наверху. Мы с ней еще встретимся.

30.6

Вспоминаю нашу жизнь в Крыму – массандровский парк (старые кипарисы, толстые змеи на дорожках), вид с нашего балкона на ночную Ялту (огни кораблей на рейде, огонь маяка, неон реклам), поездка на катере во Фрунзенское (разговор с матросом рыболовного траулера), прогулка пешком от Массандры до Никитского сада (обелиск на месте расстрела ялтинских евреев).

12.7

Нужно ли писать? Что значит – писать для себя? Не значит ли это то же самое, что и вообще не писать?

29.8

Поступаю в аспирантуру, сдаю экзамены. Одна из моих конкуренток – Алла П. Искусствоведка. Работает в музее города.

5.9

Ездили на пароходе на остров Валаам. Скиты в запустении. Все изломано, истоптано. В монастыре живут инвалиды. Нищета, грязь. Лес захламлен – всюду валяются битые бутылки и ржавые банки из-под консервов. А так – очень живописный остров.

9.9

В трамвае едут две женщины, одна красивая, изящно одетая, другая некрасивая, одетая кое-как. Некрасивая все рассматривает красивую, а та только мельком на нее взглянула и отвернулась. Выходить им обеим на одной остановке. Красивая встала, и все увидели, что сзади к ее платью прилепилась какая-то бумажка. Некрасивая подошла и сняла эту бумажку. Красивая ничего не заметила.

22.9

Писал акварели в Михайловке. Потом пешком пошел в Петергоф. Бродил по Александрии, по Нижнему парку (перспективы аллей, синие тени на желтом песке, безлюдье). Возвращался домой на пароходе. Какие-то иностранцы все время щелкали фотоаппаратами, залив был совершенно гладкий. На горизонте торчал высокий плавучий кран, над ним висела розовая тонкая петля – след реактивного самолета. Солнце садилось за темные зубы прибрежных лесов. Города не было видно, он был закрыт сплошной завесой дыма. Потом сквозь дым стали просачиваться желтые огни. В сумерках белели паруса яхт. Буксиры с цветными огнями по бортам, сопя, толкали носами баржи. Когда причалили, уже совсем стемнело. Но на западе небо еще было розовым.

23.9

Поэт Г-кий (У Понизовского).

Читал с подвывом, закрыв глаза. Стихи были в основном сатирические, смешные. Потом пел под гитару песни – свои и Окуджавы. Потом рассуждал о поэзии (нет, ребята, нечего себя обманывать, поэтов нынче нет! Ни одного!) и ругал Соснору (искусственный, насквозь искусственный!). Известных поэтов называл запросто Вовками, Петьками и т. п. Хлебникова назвал Витькой (!), Павла Васильева величал «умнягой». Стихи свои он читал по записной книжке. Я заметил, что они переписаны тщательно, ровненько, почему-то красными чернилами. Перед уходом он надел очки, и оказалось, что у него вполне интеллигентное лицо.

10.10

Вчера были у нас гости: академик живописи Соколов (из Кукрыниксов), М. Е. и Е. М. Академик довольно прост и приятен лицом (толстошек, голубоглаз). Работы мои ему понравились. Сказал, что рано или поздно я приду к реализму, что Рерих – плохой живописец, а в Париже много зданий с острыми углами. М. Е. и Е. М. откровенно дремали. Сегодня утром по телефону М. Е. совершенно серьезно заявил мне, что он, как работник в области точных наук, тоже тяготеет к реализму.

13.10

Отнес стихи Шефнеру. Дома его не было. Я отдал папку женщине, открывшей дверь. Шел по Троицкому мосту, по набережной, потом по Мойке. Вода была черная и гладкая, как застывший битум.

Человек я городской, но когда думаю о счастье, вижу летний утренний лес, пронизанный косыми лучами солнца. Наверное, был я когда-то зверем или лесной птицей.

23.10

Пишу «Иванушку». Во мне открылись некие, скрытые дотоле родники. Пишется легко, сладко.

20.11

Приснилось, будто я прикинулся мертвым. Положили меня в гроб и принесли на кладбище, к церкви (будут отпевать). Мне страшно – вдруг и впрямь умер! Ж. знает, что я живой, и стоит спокойно, а все остальные плачут. Но им меня не жалко – притворяются.

1961

9.2

Пять дней жил в Таллине. Делал наброски. Шатался с Ж. по кабакам. Кабаки в Таллине отличные.

Звонила Грудинина. Предложила мне сделать книжку. Сказала, что надо написать еще пять-шесть стихов на «гражданскую тему».

Прислали корректуру переводов. Первая в моей жизни корректура.

24.3

Отец в больнице. Инфаркт.

Звонила Грудинина. Сказала, что сборник прошел редколлегию.

26.3

В воскресенье ездили на автобусе в Новгород. Город изменился к худшему. Новые здания слишком высоки и громоздки.

Мечтаю о Крыме.

Крым – это ворота в рай, в тот рай, откуда восходит солнце и куда уходят корабли.

31.3

Провожали Майку в аэропорт. Выла метель, но временами проглядывало солнце. Белый длинный самолет с жутким воем пронесся по аэродрому и исчез в снеговой туче. В нем была сила, которая, казалось, уже не подчинялась человеку.

12.4

Вокруг земли летает космический корабль. В нем сидит русский офицер. В газетах и по радио – сплошной восторг и ликование. Дети пишут на стенах домов: «Ура, Гагарин!»

13.4

Был в Петропавловке. Алла показала мне чердак собора. Огромные арки, контрфорсы... Потом пошли к пушке, которая стреляет в полдень. Оказалось, что пушек две – вторая запасная, на случай, если первая даст осечку. Вернулись в собор. Алла куда-то ненадолго ушла. Музей уже был закрыт. Я один бродил среди могил русских императоров. В окна били желтые лучи вечернего солнца.

23.4

Поэтический вечер в доме культуры. Запомнились стихи Шнейдермана («Флейта – девочка из симфонического оркестра»), Рубцова, Кушнера, Сергеевой. Соснора читал «Цыганку», «Краснодар», «Легенду о Марине», «Легенду о кактусе». Во втором отделении читал Шефнер. Приняли его довольно холодно.

Когда все кончилось, я подошел к нему. Говорили о книжке. Он сказал, что ее надо подавать прямо в издательство.

30.4

Пришли гости, принесли кубинский ром. Я читал «Лестницы», «Стеньку» и «Окоlesiцу». Читал и плакал. Кубинский ром действует расслабляюще.

10.5

Мир мягок и студенист, его не за что ухватить. Я не уверен, что он еще способен существовать.

Через месяц кончится мой двадцать девятый. Я приближаюсь к тридцати. Все твердят мне: неси свой крест и веруй!

13.5

Майка сказала: «Я знаю, как ты одинок, с каждым годом это заметнее».

28.5

Пытаюсь писать стихи о войне. Не выходит.

Ходил к морю. Не Черное, а все же море. Синее. И шумит. И белые корабли на синем.

3.6

Уругвайский архитектор – коммунист. Возил его на Пискаревское кладбище (я и сам был там впервые). Осмотрели павильоны при входе. На стенах фотографии блокадного города: трупы, развалины, пожары. Я говорил, переводчица переводила. Уругваец слушал очень внимательно, переспрашивал.

Пошли по главной аллее между братских могил. Играла траурная музыка. Громкоговорители подхватывали ее один у другого и несли за нами. Подошли к мемориальной стене, постояли.

В машине продолжался разговор о войне и блокаде. Шофер рассказывал о том, как зимой 42-го он возил на кладбище трупы из больничного морга. Пятитонку наваливали с верхом. Были женщины, дети – все почерневшие, страшные. Я попросил переводчицу все подробно перевести.

Мы ехали по шумному летнему проспекту. Мчались машины, шли веселые, здоровые люди.

Шофер продолжал: «...Стоит женщина и держит за ноги труп ребенка, поставив его на голову, стоит и разговаривает со своей знакомой... Шла девушка, не очень худая... упала... через полчаса проходил мимо – у трупа вырезали груди и ягодицы...»

Сеньор архитектор как-то сник.

15.6

Ездил в Разлив к Грудиной. Когда вышел из электрички, собиралась гроза. Гигантские торжественные облака стояли над морем. Н. И. встретила меня приветливо, стала угощать чаем. С ней на даче живут восьмилетняя дочь и собака. Собаку купили на собачьем рынке. Хозяин сказал: «Не продам – удавлю!» Поэтому и купили. А потом оказалось, что собака породистая, что-то вроде сибирской лайки.

Говорили о том, для кого писать и как понимать стихи. Н. И. во время войны была разведчицей, потом редактором флотской газеты. Ее муж – видный инженер.

Я читал из «Трамвайных стихов», из «Лестниц», из «Ваньки» и всего «Стеньку». «Стенька» ее пронял, предложила показать его Решетову, дописав предварительно еще одну главу (вот Вознесенский дописал же конец к «Мастерам»! А без этого конца не напечатали бы!). Провожала меня до станции. Лайка бежала впереди.

19.6

Три часа шел по маленькой речке, ничего не поймал. К полуночи вышел к большой. Хотелось спать. Сумерки опустились и стало холодно. Поужинал бутербродами, запивая их речной водой. Сделал зарядку, чтобы согреться.

По реке полз туман, строил какие-то белые фигуры. Они колебались, как привидения.

Сел на бревно у моста, подпер голову руками, но сон не приходил. Река шумела. Изредка из общего шума вырывались отдельные звуки – не то бульканье, не то журчанье. Куковала кукушка. Какая-то ночная птица пронеслась над самой водой, отчаянно крича, будто просила о помощи. Постепенно стало светлеть.

К мосту подошел человек с рюкзаком за плечами. Остановился, поглядел на воду, приблизился ко мне и стал делать руками какие-то знаки. Он был немой.

Потом он вытащил из кармана спичечный коробок, раскрыл его и поднес к моему лицу. В коробке были светлячки. Штук пять. Он сделал неловкое движение, коробок упал на песок, светлячки высыпались. Мы стали их собирать. Я хотел взять рукой, но немой отодвинул мою руку и стал подцеплять светляков спичками. Я понял, что они могут погаснуть, если взять рукой.

Немой спрятал коробок, улыбнулся мне, закурил, постоял немного и пошел дальше. Река шумела.

Я надел свой рюкзак, взял удочку и полез в прибрежные кусты.

Начал, как всегда, у старой финской мельницы. Прошел первый перекат – ни одной поклевки. Стало скучно. Захотелось домой.

В конце переката, где течение стихает, забросил в яму – там иногда брали крупные окуни. Вдруг рядом плеснула большая рыбина. Эге! – подумал я и подпустил червяка к этому месту. Снова раздался плеск, и я увидел золотой бок крупной форели. Дернул – и ощутил на лесе ее тяжесть, но в тот же миг она сорвалась. Торопясь, дрожащими руками насадил свежего червяка и снова закинул. Опять всплеск. Удочка согнулась дугой. Форель рванулась вбок, поперек течения, потом выпрыгнула из воды, и я увидел ее всю, эту красотку, все ее тело с отчаянно растопыренными плавниками. Мне стало ее жалко, но дело уже было сделано. Я опустил в воду сачок и стал подтягивать рыбу поближе. Она упиралась, ей не хотелось умирать. Я подвел ее совсем близко и стал прижимать к осоке. Я видел ее спину, видел, как двигаются ее жабры. Она была моя, я победил ее. Я чувствовал себя Стариком Хемингуэя.

– Сейчас, лапушка, – говорил я ей, – сейчас, погоди минутку! И вдруг леса резко ослабла. Я дернул и увидел пустой крючок. Сердце мое колотилось. Я чуть не плакал.

Было три часа утра, всходило солнце. Птицы орали на все голоса. Туман разрывался на куски и таял.

К восьми часам я поймал четырех небольших хариусов. Вылез на берег, разделся, развешил на ветках портянки и сел на камень. В пяти метрах от меня к воде вышла белка. Повертелась, взглянула в мою сторону и, не торопясь, ушла в кусты.

Больше я ничего не поймал.

11.7

Я мучаюсь, а зря. Только сейчас кончилось мое затянувшееся школярство и начинается самое интересное.

17.7

Привел в порядок свои поэмы. Появилась мысль о новой. Это будет поэма о любви. Джульетта умирает в блокадном Ленинграде. Ромео несет ее тело по пустынному мертвому городу. Это должно быть очень строго и возвышенно. Это должно быть на одном дыхании.

30.7

Историю искусств нам читал Александр Александрович Починков. Это был старичок в старомодном пенсне с жидкой козлиной бородкой и серым пушком на голом желтом черепе. Одевался он неопрятно и был до смешного рассеян. Лекции его нам нравились, хотя и были несколько сумбурными: Сан Саныч, не стесняясь, пропускал те разделы, которые не любил,

зато подолгу разглагольствовал о вещах второстепенных, но его интересовавших. При каждом удобном случае он вспоминал о своем путешествии по Европе, которое он успел совершить еще до революции. Он был холост. Его жилище состояло из двух комнат в коммунальной, некогда целиком ему принадлежавшей квартире. В большой комнате помещалась его библиотека, в маленькой помещался он сам. Библиотека была солидная – 5 тысяч томов. Старые гнилые полки ломались, но А. А. боялся пригласить рабочих, потому что они могли что-нибудь украсть. И все же А. А. обокрали. Его сосед по квартире подобрал ключ к двери большой комнаты и частенько стал приходить домой выпивши. А. А. ничего не замечал, пока не увидел в одном из букинистических магазинов несколько ценнейших книг из своего собрания. Книги ему отдали (они были меченные).

В маленькой комнате стоял большой старинный буфет резного дерева. В нем хранилась богатейшая коллекция грампластинок с записями классической музыки. Снаружи буфет был уставлен множеством безделушек, купленных во время знаменитого путешествия по Европе. На всем лежал толстый слой пыли, но А. А. не приглашал уборщицу, потому что она могла поставить безделушки не на то место. Он терпеть не мог никаких перемен.

По вечерам к А. А. приходили студенты и он устраивал «концерты» симфонической и камерной музыки или рассказывал о своем путешествии по Европе.

А. А. был профессором Академии художеств, главным хранителем академического музея, и до глубокой старости преподавал биологию в одной из средних школ. Когда-то он окончил биологическое отделение Петербургского университета. Став искусствоведом, он не разлюбил биологию.

Весной 1951 года А. А. перестал читать нам свои лекции. Оказалось, что они не соответствуют марксистскому пониманию искусства. Несколько раньше по такой же причине он лишился места учителя биологии.

Перед смертью Александр Александрович Починков завещал свою библиотеку Академии художеств. Куда делись пластинки, я не знаю.

2.8

Вспоминаю.

Она защищала диплом в конце июня, кажется, 24-го. Я пришел в институт, чтобы поздравить. Она была веселая, счастливая и красивая. Мы поехали в ЦПКиО и долго шатались по аллеям. Потом валялись на траве, и мне очень хотелось поцеловать ее, но я не решался.

Павловский парк. Она сняла босоножки и идет босиком. Я иду сзади. Среди ромашек мелькают ее голые ноги. У меня кружится голова от запаха ромашек и от мелькания этих ног. У пруда раздеваемся. Она снимает платье, снимает его через голову, как все женщины. Я вижу ее тело, ее трусики и бюстгальтер (кажется, черные с красной каемкой). Загораем. Она лежит рядом, такая женщина – женщина. На носу у нее зеленый листик. Я наклоняюсь над ее лицом. Она быстро, как-то совсем по-деревенски закрывает рот ладонью.

Приморское шоссе в Солнечном. На ней яркое летнее платье. В волосах – цветок шиповника. Все прохожие пялят на нее глаза. (Не помню, какого фасона было платье. Тогда ведь были совсем другие моды.)

Парк в Михайловке. Накрапывает дождь. Мы сидим на полянке, накрывшись одним плащом. Рядом шумит море. Пахнет водорослями. Мы немножко устали от любви, но нам весело. Потом босиком по лужам бежим на автобусную остановку. Поскользнувшись, она смешно падает. Долго хохочем. Я оттираю ее юбку мокрой травой. «А, черт с ней! – говорит она. – Все равно я вся мокрая!» В Стрельне пересаживаемся на трамвай и приезжаем к Казанскому собору. В кафе, что было на углу Екатерининского канала и Невского, заказываем множество еды. Ее мокрые волосы завились кольцами.

Александрия. Берег, руины дворца. Длинная каменная гряда уходит в залив. Мы на самом конце гряды. Она сидит у меня на коленях. Мутные волны разбиваются о камни. Пасмурно. На горизонте паруса яхт. О чем мы говорили тогда? Кажется, о смерти. Она сказала: «Когда-нибудь, через много лет, когда меня уже не будет (она уверена, что долго не проживет), ты придешь на эти камни, увидишь эти волны, услышишь этих чаек и вспомнишь, как мы здесь целовались, а я на том свете почувствую это и заплачу от радости».

Балтийский вокзал. Она стоит в дверях электрички. Ее фигура четко выделяется на светлом прямоугольнике.

– Милый, приезжай! – говорит она. – Я не могу без тебя!

Электричка трогается.

Михайловский сад. Сидим на скамейке. Подходит молодая цыганка: Ах, какая парочка! Ах, какие оба хорошие! Красивые! Дай бог вам счастья!

Борисово. Прихожу на почту, и мне вручают письмо, первое в моей жизни письмо от женщины – моей любовницы. Сажусь на пригорке среди молодых сосенок, дрожащими руками разрываю конверт: «Мне кажется, что десять лет прошло, как я с тобой рассталась...»

Звоню. Открывает ее тетка. Прохожу по коридору, вхожу в комнату. Она лежит в постели, закинув голые руки за голову, смотрит на меня и улыбается. «Господи! – думаю я. – Как она хороша! И эта женщина меня любит!»

Звоню. Дверь открывается. Она стоит на пороге в новом, облегающем фигуру платье, тщательно причесанная, с накрашенными губами и ресницами. Идем в ее комнату и там тихонько целуемся, стараясь не испортить ее прическу. Потом она вытирает носовым платком губную помаду с моего испачканного лица, и мы идем в столовую ужинать. Ее отец наливает мне водку – одну рюмку, вторую, третью. Я храбро пью и закусываю жирной тресковой печенью. «Запивай боржомом, – говорит ее отец, – это лучшая закуска, никогда не опьянеешь». Я запиваю боржомом, но это не очень помогает. «Слушай, – говорит мне ее отец, – брось ты эту волюнку! Женитесь, и дело с концом! Свадьбу сыграем. Ты еще студент, но это не страшно, мы вам помогать будем. Проживете, ничего с вами не случится». – «Что ты несешь, Володя? – говорит ее мать. – Как тебе не совестно? Не слушайте, Гена, этого пьяного дурака!» Потом мы беседуем с ее отцом о политике. «Мы их в два счета расколотим! – говорит он. – Они ж не умеют воевать! Они в атаку на джипах ездили! Смешно! Мы им покажем, что такое война!»

Звонят. Я открываю. Входит она. Красивая, румяная, в коричневом пальто с отделкой из рыжего меха. (Это пальто ей очень к лицу.) Идем в мою комнату. Она прижимается ко мне, еще холодная, пахнувшая снегом.

Она больна, но уже выздоравливает. Я сижу рядом с постелью. По комнате на трехколесном велосипеде ездит ее сын. «Сашенька, – говорит она сыну, – иди покатайся в прихожей, там лучше кататься!» Саша уезжает в прихожую. Она тянется ко мне из постели и обнимает за шею теплой мягкой рукой. Бретелька сорочки сползает с ее плеча. Саша снова въезжает в комнату на своем велосипеде. Она прячется под одеяло. «Саша, – говорит она, – я же тебе русским языком сказала: катайся в прихожей!» – «Я не хочу в прихожей, – отвечает Саша, – я хочу здесь!» – «Вот противный ребенок!» – говорит она.

Фойе Филармонии. Я держу ее под руку. Она в длинном черном шелковом платье. Я сам попросил ее надеть это платье. Все на нее смотрят. Я горд. После концерта идем по Невскому, заходим в парадную какого-то дома, поднимаемся по лестнице, останавливаемся на площадке. Она расстегивает свою шубку, и я обнимаю эту роскошную женщину в длинном вечернем платье. Ее мокрые от снега ресницы холодят мне щеку.

Лес у санатория «Сосновый бор». Негустой березняк. Она лежит на траве. Солнечные зайчики прыгают по ее загорелому телу. Один прыгнул на лицо. Она зажмурилась и прикрыла глаза рукой, ладонью вверх. Я открываю штопором бутылку портвейна. Рядом на газете колбаса, булка, банка рыбных консервов. «Завтрак на траве, – говорю я, – как у Мане!» – «Ага, –

говорит она, – только ты тоже голый». – «Могу надеть трусы!» – говорю я. «Пожалуй, я тоже надену платье, – говорит она, – а то здесь мухи какие-то кусачие». Она садится и надевает на голое тело платье, надевает его через голову, как все женщины, Мы пьем вино прямо из горлышка и закусываем бутербродами с колбасой. Потом она провожает меня. Мы прощаемся на дороге. Она плачет. «Не плачь, – говорю я, – вернусь через два месяца!» – Ах, милый, – всхлипывает она, – я умру, я не выживу! Ведь целых два месяца!» – «Глупости какие!» – говорю я и последний раз целую ее в соленые от слез губы. Быстро иду по дороге, но не выдерживаю и оборачиваюсь. Она стоит и машет мне рукой. Через минуту я опять оглядываюсь. Она стоит, все машет. Потом дорога круто поворачивает, и она исчезает.

Прошло семь лет. Иногда я встречаю ее. Мы киваем друг другу, не останавливаясь. Она растолстела. Ее знаменитая талия исчезла, и, видимо, навсегда. Но лицо мало изменилось. И голос все тот же, так же нечетко произносит она букву «л», и это по-прежнему придает ее речи какую-то особую женственность. Иногда я встречаю ее с сыном. Он уже большой мальчик.

7.8

Москва. Российские несуразности. На Красной площади приезжие крестьяне пьют воду из крана для поливки мостовой (рядом автоматы с газировкой). Тут же на тротуаре завтракают – на асфальте разостлана тряпочка, на тряпочке еда. Над городом гром репродукторов – очередной космонавт.

Курский вокзал. Спят вповалку, обнимая чемоданы и узлы. Плачут дети. Духота. Пол усыпан грязной бумагой и арбузными коржами.

8.8

Во Владимире приехал в час ночи. В гостинице мест не было. Спал в коридоре на диване (нянечка пожалела). Снились какие-то омерзительные сны с покойниками. Утром проснулся, выглянул в окно: крыши, церковь, дальше – река, луга, лес. Получил место в номере. Ходил по городу. Из городского парка, с обрыва, открывается грандиозный вид на Клязьму. Русь. Раздолье. Жители окают. Троллейбусы ходят стаями по 3–4 штуки, потом пауза на полчаса. Владимирское зодчество суховато – Византия, даже Армения. Но резьба по камню великолепна.

Калека на улице – безногий и безрукий, на тележке с колесиками. Одна культяпка у него все же осталась. К ней приделана деревяшка с металлическим штырем. Калека отталкивается этим штырем и едет.

9.8

Спустился вниз, по мосту перешел Клязьму и долго глядел на город. Надо всем золотые купола Успенского собора. Еще выше – белые округлые облака. Рерих. По склону лепятся деревянные домишки с палисадничками, с рябинами у заборов.

Во Владимире множество тощих кошек с крысиными хвостами.

10.8

Показывал город студентам. Были в Реставрационных мастерских. Варганов – очень знающий и очень симпатичный дядька. Рассказал кучу всяких разностей про архитектуру и так, по поводу. В Суздале, в Спас-Евфимиевском монастыре, содержались немецкие генералы, сдавшиеся под Сталинградом. Они не работали, просто жили. Паулюс ходил при всех орденах.

Сижу над Клязьмой. Далеко-далеко на том берегу кто-то скачет на лошади. Лошадь машет хвостом. Ветер стих. На горизонте остановились многобашенные облака. Сквозь них пробиваются желтые солнечные лучи. Внизу проходит товарный поезд. Прямо посередине реки бегают мальчишки, вода им по колено. Видно, что они кричат и хохочут, но не слышно – слишком далеко.

Мой сосед по номеру – лысый полковник. Мы с ним не разговариваем. На нашем этаже живут лилипуты – они приехали на гастроли с цирковой труппой. У них тонкие, верещащие голоса. По вечерам они прилежно сидят в «холле» у телевизора.

11.8

Шоссе идет среди полей. Скирды. Трактора. Деревни. В каждой деревне – церковь. В поле зрения попадает сразу штук пять таких церквей: деревни стоят густо. В одном месте церкви сбились плотной кучей – это Суздаль. Через 15 минут автобус въезжает в город и церкви обступают его со всех сторон. Бегаю по городу и жадно, торопясь, фотографирую, будто Суздаль может убежать от меня.

Встретил Гусеву. Она очень мне обрадовалась, хотя в институте мы с ней даже не здоровались. Живет в архиерейских палатах рядом с музеем в келье со сводами. В Суздале работает уже четыре года. «Тоскливо бывает зимой и осенью, – говорит она, – а летом ничего».

Деревянную церковь, что стоит рядом со Спасо-Преображенским монастырем, перетащили в Суздаль из дальней деревни. Когда ее стали собирать, кто-то сообщил в обком, что строят храм. Последовал приказ – сборку прекратить! И прекратили. Начались жалобы, просьбы, разъяснения. Приехала комиссия. Наконец разобрались, что к чему.

12.8

Пасмурно. Мелкий дождичек. По скошенному лугу идем к Покрову на Нерли. Рядом с храмом проходит линия высоковольтных передач. Старые развесистые ивы. Церковь широкой белой полосой отражается в воде.

Вечером пошел рисовать. На тихой улочке окружили ребяташки. Чумазые, белобрысые. Все окают.

– Глянь-ка, сколько карандашом! Раз, два, три – двадцать четыре! Дядь, дай карандашик! У тебя много.

Идут девчонки, едят мороженое, кричат издали:

– Сорок один!

– Почему, – спрашиваю, – так кричат?

– Сорок один – ем один! Это чтобы не выпросили мороженое. Дядь, а дядь, дай карандаши!

– Не могу. Самому надо. Приезжайте ко мне – дома у меня много карандашей. Всем хватит.

– А где ты живешь?

– В Ленинграде.

– В Ленингра-а-аде! А как ты сюда приехал?

– На поезде.

– На каком?

– На обыкновенном.

– А где он?

– На вокзале.

– А где вокзал?

– Тут, рядом.

– А большой поезд-то был?

– Порядочный.

– Дядь, дай карандашик, самый маленький!

Подошел мальчик лет шести с совершенно грязной физиономией.

– Ты чего такой? – спрашивает мальчик постарше.

– Мороженое ел.

– Мороженое-то белое, а ты черный! – потом, обращаясь ко мне: – Это Васька, он всегда у всех мороженое выпрашивает и ест.

Васька с гордостью заявляет:

– Я уже шесть раз мороженое ел! Во! И даже ночью один раз!

Третий мальчишка, совсем маленький, тянет тоненько:

– Дурак ты, Васька. Рази ж ночью мороженое едят? Ночью мороженого не видно.

– Сам дурак! Я мороженое всегда вижу, даже ночью. Я как кошка!

– Дядь, а чего ты так плохо рисуешь?

– Еще не научился.

– А-а-а! Ну учись, учись!

Пошел в парк. Впереди шли двое парней и девушка с желтыми, высоко взбитыми волосами. Она шла гордо, ни на кого не глядя, чуть-чуть покачивая бедрами. Местная красавица.

Снова сижу над Клязьмой. Заходит солнце. Внизу гудят электровозы. По радио объявляют: «Внимание! Внимание! Сейчас на танцплощадке начнется вечер веселой шутки и аттракционов!»

Огромное облако висит над заклязьменскими лесами. Оно лиловое. Один кончик ярко-оранжевый, он освещен закатным солнцем.

– А сейчас танцуем дамский фокстрот! – вещает репродуктор.

Оранжевый кончик потух. По Клязьме идет катер. Он тащит за собой длинные усы разрезанной воды. Большой стаей летят грачи. Дохнуло осенью.

– Будьте веселыми! Активно участвуйте в наших аттракционах!

Солнце село. Катер уже идет обратно. Московский поезд подходит к вокзалу.

13.8

Крестьяне на автостанции. Все низкорослые, кривоногие. Одеты во что-то серое, бесформенное. Женщин можно отличить только по юбкам и платкам на голове. На лицах одинаковое выражение тупого равнодушия. Были ли они – Ильи Муромцы и Василисы Прекрасные?

Снял номер в Суздальской гостинице. Роскошь! Двухспальная кровать, трюмо, диван, обитый красным плюшем! Даже умывальник есть! Правда, электричество и водопровод работают с перебоями. Администраторша посоветовала запастись водой, пока она еще идет. В моем окне штук пять церквей и дальняя деревня на холме. Пожить бы здесь с месяц, пописать стишки.

Вышел на площадь. На ступенях гостиницы сидит пожилая женщина в черном плюшевом пиджаке и старых кирзовых сапогах. Лицо у нее темное, иконописное. Белый платок образует как бы нимб вокруг ее лица. Она ест огурцы с хлебом.

14.8

Ночью шел дождь. Весь Суздаль погрузился в грязь. Я принял холодный душ (теплой воды здесь не бывает), и напала на меня какая-то сонливость. Не заболеть бы!

15.8

Заболел-таки. Ломит поясницу, болят суставы. Озноб. Температура, видно, большая, но градусника нет – нечем измерить. Всю ночь перед глазами вращались церкви. Не то сон, не то бред. Церкви перемещались, собирались в кучи, и было в них что-то загадочное. Я все хотел поймать хоть одну, но не мог. И мучился.

Пришел в чайную, стал в очередь. Через пять минут все поплыло перед глазами, затошило. Опираясь о стенку, вышел на улицу. Постоял. Вернулся. Снова то же самое. Еле добрел до гостиницы.

Лежу, болею. Размышляю, благо делать нечего. Вспомнил свой спор с М. Е. Наука изучает существующий мир. Искусство создает новый мир. Наука – анализ. Искусство – синтез. Искусство человечнее науки. Марсиане, если они существуют, откроют те же законы природы, что и мы. Но у них не может быть своего Достоевского и своего Бетховена.

В гостинице живет некое высокопоставленное лицо мужского пола – не то художник, не то кинорежиссер. Лицо ходит с красоткой лет сорока (кокетливый кок на затылке). У них множество путеводителей и справочников. Подойдя к церкви, они долго роются в своих книжках и потом вслух читают друг другу соответствующий текст. Вчера они пришли в чайную. В чайной самообслуживание, в кассу стояла большая очередь. Они уселись за столик, вызвали заведующего и потребовали, чтобы их обслужили в индивидуальном порядке.

16.8

В чайной какой-то старикашка норвил пролезть без очереди. Очередь волновалась и протестовала. Старикашка ругался и кричал кому-то противным тонким голосом: «Не вводи меня во грех! Не вводи!» Потом мы сидели с ним за одним столиком. Он был седенький, с тощей бородачкой, с маленькими слезящимися глазками. На нем было старое выгоревшее пальто с оторванным хлястиком. Ворот был расстегнут – виднелась серая грязная рубашка и сморщенная кожа на груди. Съев свои блины, он отер рукавом рот, вытащил из кармана маленькую деревянную коробочку, раскрыл ее, взял двумя пальцами щепоть какого-то порошка и засунул ее в ноздрю. Судя по всему, он нюхал табак. Но чихания не последовало. Он сидел тихо и прямо, уставившись в одну точку, и что-то бормотал.

– Ты чего, отец? – спросил я его.

– Вот когда я в Москве жил, – заскрипел он, – там была еда не такая, хорошая еда была. Я ведь пол-Москвы отстроил, да. А ты кем был-то?

– Каменщиком был, родимый, каменщиком, да. Ну я пойду.

Он натянул на голову старенькую бесформенную кепчонку и поднял с полу сетку, в которой был такой же старенький комнатный репродуктор.

– Ну, прощай, родимый, прощай!

Ходили в Кидекшу. Храм Бориса и Глеба на зеленом пригорке. Ленивая Нерль. Луга. На лугах – стада. Вдали – лес. И все те же пышные округлые облака, подрумяненные вечерним солнцем.

17.8

Встал в 6 утра, купил билет на автобус, прошелся вдоль Каменки. Роса. Пар над водой. Рыбаки. Гуси. Петухи кричат. Солнце еще невысоко – церкви розовые.

18.8

Ярославль. Общежитие, в котором я живу, рядом с церковью Николы Мокрого. Утром с путеводителем бродил по городу. Спасо-Преображенский монастырь только что отреставрирован. Кругом асфальт, указатели, чистота и порядок. По набережной Которосли вышел к Волге. Торжественная минута (до этого я видел Волгу только из окна вагона). Берег высокий. Внизу пляж с зелеными фанерными грибами. На пляже ни души – пасмурно и прохладно. Вдали силуэты церквей – это Коровники.

Паром. Забавно глядеть, как осторожно въезжают на палубу грузовики, разворачиваются и становятся рядком, стараясь занять поменьше места. Шоферы переговариваются из своих кабин. Въезжает подвода с бревнами. Бревна вдруг расползаются и сыпятся на пристань. Возница засуетился, забегал, стал звать на помощь. А сзади напирают – длинная очередь машин и телег. Ругань, крики. Наконец собрали бревна, погрузили. Телега тронулась, но колеса заце-

пились за край парома, и бревна снова рассыпались. Ругань стала громче. Возница весь бледный, на лбу капли пота. Зачем-то бьет лошадь вожжой, – она же не виновата! Наконец телега отъезжает в сторону и дает дорогу другим.

Капитан парома со скучающим видом наблюдал за этой сценой со своего капитанского мостика. На противоположном берегу видна вторая длинная очередь подвод и грузовиков. В Ярославле есть только железнодорожный мост через Волгу. А город порядочный – 400 тысяч жителей.

19.8

Местный хранитель древностей – Митрофанов. Он показал нам фрески. Рассказал:

– В один из провинциальных музеев явились трое молодых людей, показали документы и сказали, что забирают все иконы в Москву для реставрации и изучения. Навалили иконами целый грузовик и уехали. И тотчас в музей пришла телеграмма, где говорилось, что молодые люди – злоумышленники, а документы поддельные. Началась погоня, преступники решили замести следы. Они остановились в лесу, сложили иконы в кучу, облили их бензином и сожгли. Там были иконы XIII – XV веков. Как оказалось, молодые люди были искусствоведы и действительно работали в одном из художественных заведений Москвы.

Когда пришли к Николе Надеину, вместе с нами в церковь проскользнули двое парнишек лет по шестнадцати. Они стали рыскать по всем углам. Потом один из них подошел ко мне и шепнул доверительно, видимо, принимая меня за студента:

– Ты скажи девчонкам – тут мумии есть! Во! – и он показал мне большой палец.

– Какие мумии? Где?

– Обыкновенные. Вон там! Хочешь, покажу?

Митрофанов кончил рассказывать о фресках и повел нас в низкий придел. Там была дверь в какое-то другое помещение. На двери висел замок, но она была приоткрыта. Из нее вышел второй паренек.

– Ты чего тут? – спросил Митрофанов озабоченно.

– Да вот, мумии...

– А кто открыл дверь?

– Не знаю. Была открыта.

Парнишка боком, боком – и исчез. Я оглянулся – того, первого, тоже уже не было.

– Это ваши? – спросил меня Митрофанов.

– Нет, не наши.

– Что же вы мне сразу-то не сказали!

Он изменился в лице. Мы вопросительно на него уставились.

– Пойдемте, – сказал он, – всё равно уж теперь!

Вошли в таинственную дверь. На полу лежало что-то громоздкое, накрытое брезентом. Митрофанов отбросил брезент. Мы увидели три стеклянных ящика. В ящиках лежали высохшие коричневые мумии без одежды, точь-в-точь как египетские в Эрмитаже.

– Это князя Федор, Михаил и Ярослав, – объявил Митрофанов, – святые мощи. Церковники за ними охотятся, и мы перевозим их из одного места в другое – прячем. Если попы разнохают, где они спрятаны, то истребуют их выдачи. Теперь вот опять надо подыскивать новое убежище. Мальчишки знают – узнает весь город.

Оказалось, что до революции эти мощи находились в Спасо-Преображенском монастыре. Богомольцы стекались к ним со всей России. Уничтожить же их нельзя – рано или поздно это откроется и будет повод для возмущения верующих.

Мне стало жутковато: своды древней церкви, решетки на окнах, полумрак и высохшие мертвецы, которых так старательно прячут. А вдруг эти мощи и впрямь обладают чудодей-

ственной силой? Жили-были бог весть когда какие-то князья, все их современники сгнили без остатка, кости их рассыпались в прах. А эти трое и сейчае еще вроде бы живы: кому-то они нужны, кто-то их ищет, кто-то их прячет, кто-то их боится.

20.8

Поездка на пароходе в Тутаев.

Погода переменчивая – то дождь, то солнце. Зато над Волгой разнообразнейшие облака. Они все время меняются в цвете: лиловеют, синеют, желтеют. По берегам деревни, стада черно-белых коров на лугах (почему-то одни черно-белые!), трубы заводов, пристани, деревянные лестницы, поднимающиеся от пристаней в гору, церкви – в большинстве полуразвалившиеся, с покосившимися главами, с торчащими ребрами стропил. Сама Волга тоже меняет окраску, как хамелеон, – от зеленого до темно-лилового. И леса на горизонте то светлеют, то становятся почти черными, когда на них падает тень от облаков.

Когда приплыли к Тутаеву, дождь полил как из ведра. Целый час сидели на пристани. Потом по скользкой глинистой тропинке пошли вверх, в город.

В этом месте оба берега высокие. Тутаев расположился на двух берегах. Множество церквей. Они стоят очень живописно, спускаясь по склону к Волге. Почти все они полуразрушены.

Город застроен одноэтажными, в большинстве деревянными домишками, в центре – площадь с намеком на булыжное мощение. Посреди площади монумент вождю. Он обсажен цветами. Цветы так буйно разрослись, что закрыли фигуру почти до пояса. Тут же на углу – ресторан. Около него двое пьяных – один лежит, другой стоит над ним, держась за стенку.

Другая площадь – базарная. Она поросла свежей зеленой травкой. На ней ни души. Две козы щиплют травку. (Базар бывает по утрам.) Рядом – белая чистенькая церквушка – действующая.

По Волге мимо Тутаева несется «Ракета» на подводных крыльях со скоростью 79 километров в час. Видение из другого мира. Тутаев остался в XVII веке. Вернее, остался бы, если хоть церкви были бы в порядке. А так он вне времени и пространства. Призрак. Правда, на другом берегу, за собором, торчит труба какого-то заводика, но что проку? От неё только дым. А когда-то это был богатый купеческий город – недаром здесь так много церквей. На пристани висит плакат: БЛАГОУСТРОИМ РОДНОЙ ТУТАЕВ! Он висит уже давно – выцвел.

23.8

Ростов Великий. Сказочный ростовский кремль. Пожалуй, даже слишком белый, слишком свежий. Его только что восстановили после разрушений, которые причинил ураган – явление весьма редкое в этих местах. Этот ураган сорвал все крыши, все верхи крепостных башен и храмов. Но нет худа без добра. Теперь кремль восстановлен в первоначальном виде, таким, каким он был в XVII веке. Если бы не ураган, архитекторы не получили бы столько денег на реставрацию.

Фрески. «Страшный суд» в Спасе на Сенях. Ничего подобного еще не видел. Грандиозно.

Вид кремля с озера. Озеро гнилое, болотистое. Берега низкие, сырые. Множество лодок. Старый колесный пароход, который давно уже не плавает, а стоит на приколе.

Живем с В. В. вдвоем в большой общежитской комнате. В. В. вооружен до зубов всякими орудиями для художества. Каждый день он пишет акварели. Вечером мы их обсуждаем. В. В. Очень добродушен и общителен. Увидел, что я читаю Каменского: вы любите стихи? Все рассказывает мне про Старую Руссу. Это его родина. Отец его был главным архитектором Старой Руссы. До революции у них была квартира из восьми комнат.

– Ах, как мы жили! Как жили! Я, знаете ли, не боюсь это говорить. Мой отец ведь не буржуй какой-нибудь был, а русский провинциальный интеллигент. Я горжусь им. Он немало сделал для страны. После революции он работал на Волховстрое и на других стройках. А обра-

зования высшего, между прочим, не имел. Так, знаете, самородок. Мне до него далеко. Ах, как мы жили! Как жили!

В. В. хочет сачкануть – уехать на два дня раньше в свою Старую Руссу на сборище земляков по поводу какой-то там годовщины.

– Посоветуйте, как мне быть? – спрашивает он меня.

– Поезжайте! Плюньте на все и поезжайте!

– Но могут быть неприятности!

– Ну и что же? Зато вы будете среди друзей, у себя на родине!

– Вы думаете – ехать?

– Да, конечно!

– Ну так и порешим. Еду!

Через полчаса опять:

– Но как мне быть с билетами? Ведь их не оплатят!

– Оплатят минимум, не все, но минимум! – заявляю я авторитетно.

– Вы думаете?

– Да, я в этом уверен!

– Ну ладно. Поеду.

Еще через полчаса:

– Нет, вы мне все-таки посоветуйте – как мне лучше ехать?

Хожу по стенам кремля, делаю наброски.

24.8

Борисоглебский монастырь. Опушка леса. Речка с запрудой. Надвратные церкви. В крепостной стене – магазины.

20.10

Закончил «Жар-птицу». Весь день не в своей тарелке. Тяжелая голова. Будто пьян. Очень хочется кому-нибудь прочесть. Майка боится «Жар-птицы».

В какой-то степени эго шаг назад, но шаг вполне честный.

9.11

Андрей К. и Таня Х. Андрей хвалил мои поэмы, Таня ругала мою живопись. Все сошлись на том, что в поэзии я сильнее. Андрей покорила нас своим обаянием, но на Майкином дне рождения учинил дебош и исчез бесследно.

20.11

В Капелле слушали Моцарта и Бетховена. Захотелось написать поэму об Афродите, о женской красоте, которая вечно мучает нас и манит.

Про «Жар-птицу» говорят, что в ней есть нечто античное (Орфей спускается в аид за своей Эвридикой).

24.11

Винокуров написал отрицательную рецензию на мою книгу. Я утвержден кандидатом в члены литобъединения при издательстве «Советский писатель». Предлагают подать на конкурс 10 стихотворений.

6.12

Во время блокады в квартире нашли труп. На груди под одеждой была баночка с золотой рыбкой. Человек согревал ее своим телом. Он умер, а рыбка выжила.

...

1962

17.1

Чердак Исаакиевского собора. Какие-то марсианские конструкции. Множество лестниц и переходов. Бездонные черные пропасти. Фантастика.

Одинаково плохо читать стихи тем, кто их не понимает совершенно, и тем, кто их слишком хорошо понимает. Первые, зная, что находятся в лесу, не могут отличить елку от осины. Вторые видят елки и осины, но не видят леса.

21.1

Показывал свои работы выставочному молодежной выставки. Приняли семь штук. Было много народу – всем нравилось. Уже потом, когда мы с Майкой связывали подрамники, подходили люди и просили показать. Говорили – красиво.

11.3

Вышла «Персидская лирика». Маленький тираж – сразу разошелся. В «Звезде» напечатали мой перевод из Шогенца.

Неделю жил в Москве. Теперь пишу запоем. Вроде бы есть успехи.

Музей этнографии. Отдел – «Русские». Лапти, соха, сани, прялки, дудки, жалейки... Сердце шемит. Зов предков.

Пишут, что Китеж – это Кидекша близ Суздаля, и ничего больше. Пусть так. Однако Китеж останется Китежем.

Читал о Гогене. Живописец из меня не выйдет.

И снова весна.

17.3

Ночь. Из приемника – меланхолический джаз. Женщина поет по-французски. Женщина поет в Париже. В Париже рано ложатся спать, но многие не спят ночами. Машины двумя потоками несутся по Елисейским полям, огибают арку на площади Звезды. В машинах тот же джаз. Только что прошел дождь. Неон реклам отражается в мокром асфальте. Машины мчатся по разноцветному неону. Где-то в предместье хозяин закрывает свое бистро, выпроваживая засидевшегося пьяницу. Из открытой двери доносится тот же джаз.

Увижу ли я Париж?

Сегодня запущен спутник весом в пять тонн.

Можно ничего не делать, просто жить – так все интересно. Можно быть просто свидетелем.

Можно найти счастье, например, в еде. Раньше я не обращал на еду внимания, а теперь стараюсь есть и пить вкусно. Тоже ведь радость.

Я бы мог стать хорошим поваром, я знаю толк в этом деле. Еще я мог бы стать переплетчиком. Быть может, это и есть мое призвание.

Г. говорит: главное – освободиться от тщеславия, в этом и есть счастье. Он освободился и счастлив.

Еще – хорошо вспоминать детство. Начать издали и вспоминать все по порядку.

6.4

Весна распустила хвост. Я, как и следует быть, занемог. Особенно вечера меня мучают, после заката солнца – это зеленое небо с первой звездой. Обязательно есть первая звезда, самая первая.

Прилетели птицы. Вышел как-то во двор – пела одна, чисто-чисто так. И чего ее в город занесло? Будто в лесу места мало.

Фантастическую литературу мне читать опасно – всякий раз немного схожу с ума, и позвоночник ломить начинает.

В Москву летел на ТУ-104. Первый раз. Забавно выглядит земля с высоты восьми километров. Петли дорог на снегу. Машины на шоссе. Поезд. Людей не видно вовсе.

Свистопляска столичных впечатлений.

Мастерская Тани Х. Экзотика Масловки. Белый пудель художника Никонова. Смерть художника Китайки. День рождения Г. (читал «Осенние страсти» – не поняли). Дочь репрессированного художника Виноградова просит дать жилплощадь (Виноградов расписывал агитпоезда). Ночная Москва. Вокзалы.

Пишу «Афродиту», но весна мешает.

19.5

Напротив нашего дома стоит высокая железная труба. Из нее все время валит черный дым. Если лечь на тахту, в окне видно только небо, труба и этот дым. Он старается заполнить собой белый квадрат неба в окне, но это ему не удастся. Часами могу лежать на тахте и смотреть на этот дым.

Закончил «Девятую поэму». Это тот же дым в окне, десятое донкихотство.

Рассматривал фотографии росписей Владимирского собора в Киеве. Красиво до слащавости, а волнует. Особенно нестеровский Глеб – женственный хрупкий юноша с трогательно торчащими соломенными волосами.

И вообще – Нестеров: «Дмитрий – царевич убиенный», «Великий постриг», «Видение отроку Варфоломею» – все это пронимает меня до печени.

Если бы я родился лет 60 назад, я был бы очень религиозным человеком.

17.10

Пора самоубийц. Сумеречные дни. Наледи на тротуарах. Печатаю летние фотографии. Обрывки летних впечатлений.

Киев.

Труханов остров.

Рыбаки. Катера. Мальчишки. К пристани подошла девушка с желтыми волосами. Вымыла ноги, надела туфли, надела темные очки, одернула юбку. Стоит, облокотясь о поручень, смотрит на воду. Женщина купает мальчика. Мальчик капризничает. У женщины красивые бедра. Заходит солнце. Днепр розовый.

Вечерняя толпа на Крещатике. Много негров и красивых девушек. Все говорят по-русски. Даже «г» твердое, северное.

Владимирский собор, фрески. Сначала ошеломляет. Потом начинаешь разбираться, что к чему. Все сохранилось. Немцы собор не тронули, наши – тоже.

Москва.

«Литературный вечер» у Н. Прочел «Стеньку». Один из слушателей говорит: «Но ведь это не соответствует исторической правде!»

Владимир.

Гостиница. Очередь к администратору. Пожилой женщине не дают место, она колхозница, у нее нет паспорта. «Куда же я денусь?» – говорит женщина. «Ничего не знаю! – говорит администратор. – У нас инструкция».

Суздаль.

Овес у Покровского монастыря. По тропинке идем к воротам – Алла, Наташа и я. За белыми стенами Покровского красные – Спас-Евфимиевского. Белые округлые облака на

синем небе. В речке Каменке брызгаются белоголовые ребятишки. На берегу пасется белая лошадь. Белое, красное, зеленое и синее.

Дорога из Суздаля в Кидекшу. Пьяный парень едет на лошади. Он то и дело засыпает. Лошадь еле бредет. «Н-н-но!» – говорит парень, просыпаясь, и засыпает снова. Дорога пустынна. Ветер. Пыль.

Беседа со старушкой-аборигенкой. «Ноне-то хорошо стало. Церкви чинят. Даже кресты золотят – слава те господи. А раньше, бывало, комсомольцы из церкви иконы вытаскают, свалют в кучу и подожгут! А церкви на кирпич разбирали. Ноне-то куда как хорошо стало».

Москва.

Встреча космонавтов. Центр города оцеплен – ни пройти, ни проехать. Милиция, дружинники, заслоны из грузовиков. Разъяренная женщина кидается на милиционера: «Да какое вы имеете право! Я здесь живу! У меня дома ребенок один остался! Какое вы имеете право!» Над городом летают вертолеты и разбрасывают листовки. Ходят люди с цветами. Одни идут к центру, другие из центра – ничего не разберешь. Ветер метет листовки по тротуару.

Донской монастырь. Остатки разрушенных памятников архитектуры. Архитектурное кладбище. Рядом – кладбище человеческое.

Феодосия.

Шесть часов утра. Восход солнца над морем. Рыбаки на пристани. Утренние улицы. Рынок.

Коктебель.

Могила Волошина. Самая красивая могила, которую я когда-либо видел. Маленький холмик выложен коктебельскими камушками – халцедонами, агатами, яшмой. Никакой надписи нет. А внизу и дальше – море, фантастически синее, в оправе из рыжих коктебельских холмов. И зубцы Кара-Дага. На этом месте могли бы похоронить самого Господа Бога.

Старый Крым.

Дом Александра Грина. Вещи Александра Грина. Жена Александра Грина – Инна Николаевна. Сказала, что фильм «Алые паруса» ужасен, что Вертинская ничего не может. Еще сказала, что Борисов в «Волшебнике из Гель-Гью» искажил и опошлил образ ее мужа. «Александр Степанович очень рассердился бы, прочитав эту книгу!» Я сделал запись в книге отзывов. Пошли к могиле. Кладбище полузаброшенное, заросшее чертополохом. Над прахом Грина растет дикая слива. Памятник жалкий, из бетона, покрашенного белой краской. В бетон вделан фарфоровый медальон с портретом. Если встать рядом с памятником, то вдали виден маленький кусочек моря. С фарфорового медальона Грин смотрит на этот кусочек...

18.10

Город мне осточертел, и все же я пишу о нем. Н. торопит – надо делать перевод, а я пишу о нем, об этом каменном чуде. Снег растаял, но зима под боком, ненавистная зима, которая неизвестно чем кончится.

20.10

У Женьки пили крепчайший чай со сгущенным молоком. Разговоры были похоронные. Исполнилось два года со дня смерти Вассы Зиновьевны. Вся жизнь ее была жертвой, самоотречением ради детей, которых она любила болезненной, иступленной любовью.

«Солярис» Лема. Лем – гениальный фантаст.

23.10

Получил в поликлинике рентгеновский снимок – таз, позвоночник, ребра. Жутковато смотреть на свой скелет. Но камней в почках не видно. Дай-то бог!

Женька приволок котенка. Черный. Белый нос, белый живот, белые кончики лап – все симметрично. Тут же ко всем стульям привязали веревочки с бумажками, появились многочисленные блюда с молоком и прочей едой. Майка в восторге. Котенка называли Филькой.

25.10

Конфликт на Кубе. Пахнет жареным. Отчаянная телеграмма Рассела. Даже уже не страшно. Детей жалко. А впрочем, так оно и лучше – лучше умереть ребенком. Но надо встретить это чисто выбритым и в свежей рубашке.

9.11

Подарили мне крест медный, с эмалью. У меди сладковатый мерзкий запах – напоминает запах трупа. Боюсь брать крест в руки – руки тоже начинают пахнуть.

3.12

Бесцельные, безалаберные дни в Москве. Все говорят о Солженицыне. В Гослите видел обложку отдельного издания его повести. Левушка и Коля В. рассказывали о лагерной жизни. Они хохотали, а мне было страшно. Наташа уговаривала меня послать «Жар-птицу» Твардовскому.

Правлю корректуру «Собрания редкостей».

6.12

Сжечь все старое, сжечь и забыть о нем. Раздавить в себе эту жалость. И покончить с эклектикой. Найти себя или заняться другим делом.

10.12

Началась конференция молодых литераторов. На собрании выступил престарелый писатель Давиденко, из репрессированных (просидел 15 лет). Он сказал: «Самым оскорбительным для нас было то, что нас не пускали на фронт... Современная молодежь в основном здорова, но есть молодые люди, живущие как бы в чаду. Надо бороться с такими явлениями. Желаю вам ленинского оптимизма!»

Наш семинар ведут Торопыгин, Давыдов и Рубашкин.

11.12

Сегодня на семинаре разбирали меня («Жар-птица» и шестистишия). «Птица» произвела впечатление. Пришли Глеб Семенов, Куклин – слушали. Семенов: «Это, конечно, не гениально, но может быть». Куклин: «Вы смакуете ужасы, это суперпессимизм, он не лучше супероптимизма». Давыдову понравилось безо всяких «но». Торопыгину вообще не понравилось, зато ему понравились шестистишия. Потом Рубашкин привел Павловского, и тот долго шептал мне в уголке комплименты. Сказал, что поедет в Москву и там многим покажет.

12.12

Конференция закончилась. Меня рекомендовал в «Звезду» и для выступлений. На литературном вечере я читал «Птицу».

16.12

Читал в кафе поэтов на Полтавской. Приняли неплохо.

17.12

В «Молодом Ленинграде» взяли десяток шестистиший. Грудинина за глаза ругает «Жарптицу» и меня, говорит: пусть пишет, как Евтушенко! (?)

24.12

Читал в кафе «Улыбка». Приняли холодно.

Потом сидел за столиком, смотрел и слушал. Новое поколение. А я ни тут, ни там. И стихи мои ни тут – ни там.

Лем, несомненно, великий фантаст.

Что есть фантазия? Фантазия и творчество. Является ли истинно фантастическая литература художественной? Художественность самой фантазии или литературная художественность? Подумать.

27.12

Прочел наконец «Ивана Денисовича». В литературном смысле это не показалось мне интересным.

1963

8.2

Я не верю в Христа но он мне нравится.

Содержание настоящей современной поэзии сводится лишь к нескольким горьким истинам. Все остальное – вариации.

Изящные девичьи фигурки на снежном фоне. Их беспомощная красота умиляет и раздражает.

10.2

Гуляли на взморье. Майка на лыжах, я пешком. Солнце. Белая пустыня залива. Черные фигурки людей. Гул города вдалеке. Над городом серый пласт дыма. Со стадиона на Крестовском доносится музыка.

Смирение – благо. Гордыню надо подавлять.

13.2

Морозные солнечные дни. Весна света.

За стеною играют на рояле. Подавляю гордыню.

15.3. 15.2

Вышел сборник «И снова зовет вдохновенье» (названьице-то каково!). В сборнике напечатан мой «Турок» – все, что осталось от тридцати стишков. Зато «Турок» самый идейный.

Метод элементарно прост. Приносишь стихи. Говорят: все это прекрасно, нам нравится, но дайте что-нибудь идейное, иначе не пройдет. Даешь идейное (стыдно, а что делать?). Говорят: теперь все в порядке! Выходит книжка, волнуясь, листаешь ее и видишь, что там только идейное и напечатано – остальных стихов нет и в помине. Звонишь в редакцию, спрашиваешь: как же так? «Да так уж получилось, – отвечают, – объем сборника, знаете ли, сократили... А почему вы недовольны? Это же ваши стихи!»

29.3. 29.2

Рассказы Солженицына. Большая литература. И очень русская. «Матренин двор» – шедевр. Ни убавить, ни прибавить. Что-то от Бунина, но и свое.

3.3

Вечер в Доме ученых. Перед танцами – стихи. Слушали плохо. В задних рядах хихикали. Галя разозлилась и высказала свое возмущение. Организатор вечера тоже разозлился. «Вы не Маяковские, – сказал он, – если вас плохо слушают, значит у вас плохие стихи!»

9.3

Поэтический вечер в кафе Института молекулярной химии. Я читал «Трамвайные стихи». Потом пили портвейн и заедали его мороженым. Все официантки были с высшим образованием.

19.3

Почему Древний Египет так волнует меня?

В глубине души, в самой глубине, я верю, что после смерти будет что-то, обязательно будет.

А. сказала: «Ты слишком тщеславен, оттого и мучаешься». <...>

23.3

В Доме писателей пошел в уборную и никак не мог выйти. Почему-то был уверен, что дверь открывается на себя (?), а ручки не было. Нашел какую-то палочку, пробовал подцепить дверь снизу и сбоку, но ничего не получалось. Час был поздний, и никто не входил. Меня охватил какой-то мистический ужас. Все было как во сне. «Как же другие-то выходили? – думал я. – Что за чертовщина?» Наконец пришел Леня Буланов (они с Галей уже полчаса ждали меня в буфете). Он был очень удивлен. И правда – почему я ни разу не попробовал толкнуть дверь?

5.4

От Дома писателей шел по набережной. Было время после заката – туманные декадентские сумерки с голубыми мостами и шпилями, с тихой водой и мягким гулом далеких трамваев.

Платонов смотрит на мир глазами умного ребенка, который все замечает, но никак не может понять, почему мир так жесток и неуютен. В его трагизме есть нечто инфантильное, он из тех детей, которые рисовали смешных зайцев и котят на стенах освенцимских барачков. Отсюда этот потрясающий по своему эффекту синтез пафоса и юмора: «Он говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительно страшной природы... И горе в них прекратилось от потери сознания».

9.4

У кассы Лениздата стояла длинная очередь. «Небось каждый получит кучу денег!» – думал я. Мне было стыдно стоять вместе с ними за своими жалкими грошами. Когда кассирша протянула мне ведомость, я увидел, что гонорары были совсем ничтожные – 3, 6, 10 рублей, были даже по рублю. Я удивился и возгордился – мой гонорар был самый большой!

Итак, девятого апреля тысяча девятьсот шестьдесят третьего года в возрасте тридцати лет и десяти месяцев я получил первый гонорар за свои стихи. День был теплый, весенний, не очень яркий. Природа пребывала в спокойствии.

Гаражи владельцев автомашин – убогие кособокие сараи, обитые ржавым железом. В одном из них мой отец «ласкает» свой «москвич». Подходят какие-то люди с помятыми лицами, предлагают запасные детали. Отец торгуется с ними, ругается, потом отказывается. «Значит, не надо!» – говорят люди и уходят. Отец заботливо укутывает «москвич» тряпками и закрывает ворота гаража.

11.4

Ванная испортилась – пошел в баню (три года не был в бане!). На обратном пути пил пиво у ларька. Лениво матерившиеся мужички в засаленных ватниках, собака с тремя одинаковыми бежевыми щенками, гревшаяся на солнышке, пивная пена, падавшая в грязь, – все было прекрасно.

После эмигрантских стихов Саша Черного как-то по-новому смотрю на город. Мои шестистишия выкинули из «Молодого ленинградца» за «мелкотемье». Дело с «Жар-птицей» откладывается до осени.

«Латерна Магика». Почти прекрасно. Но кино забивает театр. Аплодисменты были жидкие – для среднего зрителя это слишком сложно.

15.4

Сон.

Пришел в какую-то столовую. Здесь работает ОНА. Я ищу ее. Прохожу один зал, другой, третий. Шторы на окнах, современная мебель. Пожилая женщина говорит мне, что ее нет. Иду к выходу, оглядываюсь и вижу, что ОНА бежит ко мне, опрокидывая стулья. Лицо у нее знакомое, но не помню, где я ее видел. Она подбегает, запыхавшись, и целует меня при всех. Она блондинка, с короткими волосами, невысокого роста, в розовом узком платье. Я тащу ее за руку к лестнице, которая ведет куда-то наверх, где мы будем одни. Лестница крутая, винтовая. Мы поднимаемся по ней, прижимаясь друг к другу. Я целую ее лицо, изнемогая от нежности и желания. Но меня будит телефонный звонок. Я не хочу просыпаться, я сопротивляюсь. «Как глупо! – кричу я кому-то. – Как жестоко! Дайте досмотреть сон!»

29.4

То, что я пишу сейчас, идет от «Солнца», которое было написано еще в 57-м году. Тогда это было случайностью.

30.4

Вчера были у нас гости – Ира А. Дима Г., Коля К. и Виктор Голявкин. Витя подвыпил и разговорился. Высказывания были такие: «Я – крепкий русский гениальный писатель. Это железно. Все эти Евтушенки, Вознесенские и прочие от меня пошли. Я начал раньше всех. Я самый левый и самый настоящий». Ирка стала обвинять гения в зазнайстве, но он хладнокровно парировал эти нападки. Потом Дима читал стихи – свои и классиков. Потом Дима сказал что он, Дима, тоже гений. Майка засмеялась. Он обиделся. Потом Дима назвал меня дилетантом, и я тоже обиделся. Словом, было не скучно.

Сегодня утром в том же составе (кроме Ирки и Майки) пили водку у Коли К. Тема разговора была прежней – о гениальности, о профессионализме и дилетантстве. Голявкин сказал, что все написанное он печатает и не желает писать ничего, что могут не напечатать.

5.5

Майка сказала мне: «Я на тебя надеялась. Ты очень талантлив, но ты ничего не добьешься».

И вся ситуация вдруг стала отчетливой: 30 лет, 100 рублей в месяц, какие-то стишки, какие-то рисунки, над которыми вздыхают приятели, и никаких перспектив.

У Майки неприятности на работе. Она не умеет и не хочет работать. Она из тех женщин, которые вообще не должны работать. Но я не могу содержать ее.

16.5

Приятно преподавать архитектуру. Приятно открывать студентам азбучные истины, которые кажутся им неожиданными и вызывают удивление. Приятно обнаруживать в них самого себя, каким ты был лет 10–12 назад. Приятно, когда тебя слушают и верят тебе.

Вчера в Америке запущен спутник с космонавтом Гордоном Купером. Он должен сделать 22 витка вокруг Земли.

Второй квартет Бородина. Моя юность. Первый курс института. Первые посещения Филармонии. Увлечение музыкой, книги о Бетховене и Бахе. Витя П. в своей комнатухе. Обои, отстающие от стены. Споры о современном искусстве.

Музыка все так же волнует меня, даже больше, чем раньше, но теперь я уделяю ей меньше времени. Да и вкусы изменились.

18.5

Был на даче. Свежая, яркая зелень берез. Запах леса. Птичьи голоса. Кукушка.

Вечером полная тишина. Безветрие. Шум далекой электрички. Тихий дождь утром.

Ходили с отцом на речку. Форель клюет плохо. Возвращались в сумерках. Трактор на поле. Брошенный дом у пруда. Силуэты одиноких деревьев. Черные ели у дороги.

Железнодорожная платформа. Рядом – бывшие финские укрепления: осыпавшиеся траншеи, гранитные надолбы, колючая проволока, остатки взорванного дота. Идет товарный поезд. Его тащит грязный, деловитый паровоз. Один шаг – и все кончено. Представил себе свой обезображенный труп – стало противно.

Поезд проходит. На площадке последнего вагона стоят два железнодорожника, о чем-то беседуют. Они быстро удаляются от меня по прямой, становятся все меньше и меньше. Паровоз гудит весело и нахально, чувствуется, что гудеть ему не обязательно, что он делает это из озорства, от избытка энергии.

Леса уходят вдаль волнами. На гребнях волн отчетливо видны зубцы елей и сосен, поближе – зеленые, подальше – синие. Птицы поют изошренно.

Приехал домой, вытащил из ящика газету. Передовица – «Выше революционную бдительность!»...

Терминология и интонации тридцатых годов! Быть может, история и впрямь – круги на воде? Одинаковые, на одинаковом расстоянии один от другого, они расходятся все дальше и дальше. На их месте возникают новые. И так без конца.

21.5

Осталось перевести 228 бейтов «Ушшак-Наме». Переведено уже больше четырехсот. Титанический и до смешного неблагодарный труд.

23.5

Галя читала мои стихи С. Орлову. Говорит, что он хохотал, прослушав «Притчу о гениальности».

Запахи поздней весны. Первые грозы. Тютчев.

Все ругают Евтушенко. Половина сегодняшнего номера «Комсомольской правды» отдана возмущенным читателям – 1200 писем!

25.5

Ещё одна ссора. Тяжко. Майка еще беспомощнее меня, каждый день говорит о своей красоте, о том, как мужчины пускают слюни. А потом плачет: «Я ничего не умею! Я дура!» И еще: «Тебе на меня наплевать! Ты занят только собой!»

Уповаю на экзистенциализм. «Эти философы придумали болезненного, страдающего от душевных мук субъекта». Уж коли они меня придумали, придется мне помучиться. Не будем обижать столь изобретательных философов.

Вечером пришел Г. с женой. Был пьян. Нес всякую чушь, выкомаривался.

Психология. Когда обнаруживаешь дурное в человеке – противно. Но в глубине, где-то в самой глубине души – удовлетворение: приятно сознавать, что ты лучше, что ты вообще хороший. Впрочем, это, наверное, не у всех.

26.5

Богостроительство. Говорю себе: я очень хороший человек! И верю в это. «Верую, ибо нелепо». На практике эта вера должна проявляться таким образом:

Приходит ко мне Г. и заявляет: ты дилетант, ты плохой поэт и вовсе не художник! А я, Г. – гений!

Я ему отвечаю: нет брат Г.! Шалишь! Я не дилетант, я самый настоящий гений и вообще – один из лучших людей на свете (уж я-то знаю, мне виднее!). А ты, разумеется, не гений. Ты просто Г. Тебе пора это понять.

Г. посрамлен. Я наслаждаюсь приятной уверенностью в себе.

Интеллектуальность современной поэзии. Мысль-образ. Хватит играть в слова – мы уже не маленькие. Будем играть в умные игры.

27.5

Сентиментализм XVIII века – антипод жестокого нищезанятия двадцатого. Дидро плакал перед картинами Грёза. А Маринетти прославлял «агрессивное движение, оплеуху и кулак».

Есть поэты слезливые, есть жестокие, есть гуманные. Надсон был слезлив, Павел Васильев – жесток, Блок – гуманен. Есенин – русская душа, в нем все вместе, все перепуталось. А Блок все же немного немец, немного сакс. Гуманизм его сродни гетевскому.

30.5

«Хиросима». Маруки Ири и Маруки Тосико. Где кончается искусство? Ужасы в искусстве. Их правомерность. Искусство или тема? Моя «Жар-птица».

Работа над диссертацией успокаивает нервы. Но нормальная, здоровая жизнь кажется мне ненастоящей. Вероятно, экзистенциалисты правы: только в конфликте с жизнью ощущаем мы всю ее глубину и живем в полную силу. Чтобы быть человеком и тем более поэтом, надо быть мучеником.

Но как быть со «светлыми гениями»? Моцарт, Рафаэль, Пушкин, Бернс!

Так ли уж светлы были их души?

По радио 2-й фортепианный концерт Рахманинова.

Некий идеальный, гармонический мир существует. Иногда нас пускают туда, но не надолго. Он все время где-то над нами.

2.6

Говорят – искусство зашло в тупик. Но наивысший расцвет – всегда тупик, ибо дальше только спад и новые, враждебные веяния. Живопись мечется между натурализмом и поп-артом. Архитектура перестает быть искусством, пожираемая техникой. Литература не может выплыть из потока сознания. Театр вернулся к средневековому балагану.

Ну и что?

Прилетят марсиане и принесут новое искусство.

4.6

Не могу привыкнуть к словам «плакаться» и «играться», хотя они уже узаконены литературно. Еще в автобусах водители объявляют: «Граждане, незамедлительно оплачивайте ЗА проезд!» А вот к «кто крайний?» я уже привык к сожалению. Речения обывательских окраин захлестывают русский язык. Блатной жаргон тоже утвердился повсеместно: пацан, кореш, щухер и т. д. Мужская половина городского простонародья разговаривает преимущественно на таком жаргоне вперемежку с матом. Есть еще молодежно-студенческий жаргон, прославленный В. Аksenовым. На хорошем, нормальном русском языке теперь как-то стесняются разговаривать, а многие – и писать...

5.6

Култ силы. Впервые я познакомился с ним в Фергане в 42-м году. Среди мальчишек существовала иерархия. Каждый занимал в ней место в зависимости от своей физической силы и умения драться. Слабый должен был беспрекословно подчиняться сильному, быть его рабом. Для определения степени силы, ловкости и жестокости все мальчишки «стыкались» между собой. У меня ничего не выходило, потому что я не мог драться без злобы, и разозлиться

без причины тоже не мог. Но меня спасали мои «talанты» и знания. Я не был рабом, даже пользовался уважением. Забавно, что лет до восемнадцати я считал, что этот культ – нечто противоестественное, некая аномалия. «Это все от войны! – думал я. – Вот наладится мирная жизнь, и человечество заживет по законам добра и справедливости».

6.6

Сегодня написал 6 стихотворений. Потом бродил по городу. По Фонтанке дошел до Калинкина моста, затем по Екатерининскому каналу вышел на Неву (любимые Блоком места). По Неве плыла дохлая собака. Собралась толпа – думали, что утопленник. Разошлись разочарованные. А собаку жаль. (Кажется, это седьмое стихотворение – самое маленькое!)

7.6

Лето у нас такое короткое, но только летом и живешь-то по-настоящему.

Гулял на Смоленском кладбище. Здесь уже давно не хоронят. Все заросло кустарником, поют птицы.

Литераторское кладбище. Как заброшенный парк. Высокие старые деревья смыкаются кронами. Внизу полумрак. Покосившиеся памятники с латинскими и готическими надписями. Мужички пьют водочку, расположившись на травке среди надгробий.

Братское кладбище (блокадное). Братская могила профессоров Академии художеств. Среди них – Билибин.

9.6

Читаю Казакова. Хороший рассказ «Трали-вали». А «Звон брегета» – плохой. Вообще – это литература прошлого века.

10.6

Бродячие темы в советской поэзии.

О Родине. Что, мол, есть красивые края и страны, а свое русское, серенькое, родное все равно лучше.

О своей собственной искренности и честной простоте. Пусть-де другие изощряются, а я буду так, как умею.

О Пушкине. С благоговением и умилением и как о своем предтече.

О настоящей жизни. Что не к лицу поэту сидеть в кабинете и загорать в Сочи, что надо ехать ему в Сибирь, идти в леса и горы и хлебнуть горюшка.

О настоящей женской красоте. Ни к чему женщине всякие там украшения и наряды. Должна она ходить, так сказать, в натуральном виде.

Еще есть бродячие слова: девчонка, звенящий, мечта, зори, бедовый, боевой, огневой, раздумья и т. д. Особенно «раздумий» много. И прилагательное – «раздумчивый» (не «задумчивый», отнюдь!)

12.6

Приехал на дачу, готовлю себе обед. Слышно, как падают шишки с сосен. Временами набегает ветер, и тогда они падают градом. Ощущение полной свободы и отрешенности от мира.

13.6

Лес. Каждый год я открываю в нем новое.

Дорога. Сначала березняк с редкими соснами. Потом чистая ель – внизу зеленый красивый мох. Потом смешанный лес – береза, осина, ольха, сосна, изредка рябина. Потом молодой густой сосняк. Все по-своему хорошо.

Прорубают просеки. Всюду валяются неубранные ветки. Кусты по обочинам дороги смяты машиной. Над «моей» елкой «подшутили» – подожгли смолу внизу, у корня. Кора с одного боку обуглилась.

14.6

Спал долго и сладко. Проснулся, открыл дверь. И снова лес, снова птицы и этот немислимый лесной запах.

Временами, когда еду в полупустом вагоне электрички, мною овладевает странное, тревожное чувство. Кажется, будто что-то должно случиться, будто лес предчувствует это и деревья в ужасе несутся куда-то назад, назад.

Денег нет. Сколько помню себя – денег всегда не было. Бывало, скажешь маме: Мам, в магазине пароход игрушечный продается, большой, двухтрубный и совсем недорогой! И ответ был всегда один и тот же: «Денег нет! Подожди немножко, потом купим».

Дожил до тридцати, а денег все нет.

Почему у птиц яркая окраска? Цветы яркие, чтобы привлекать насекомых, которые их опыляют. А зачем у птиц? И к тому же у мелких беззащитных птах? Хищники все серые.

15.6

Каждый литератор считает своим долгом публично объясниться Пушкину в любви. Культ Пушкина имеет официальный государственный характер. Говорят: «Пишите, как Пушкин, – просто и хорошо!» И все пишут почти как Пушкин. Просто и не очень хорошо.

17.6

Гадя Н. привела к нам жену Межелайтиса с двумя подругами. Они сидели у нас с 6 до 11 вечера. Потом я их провожал, «демонстрировал» им белую ночь. Они приглашали меня в Литву, в Вильнюс. Там все как-то проще и легче. Всех печатают, всех выставляют.

Межелайтиса, однако, 5 лет не печатали, хотели даже посадить. В Литве считают, что ему зря дали Ленинскую премию (представляла его Москва).

27.6

Пять дней бегал по Москве и фотографировал всяческую архитектуру. Читал свои переводы на вечере современной персидской поэзии.

Показывал последние стихи Наташе К. и Левушке М. Не поняли. Я обиделся. А чего, собственно, обижаться-то!

Столица быстро утомляет.

1.7

Три дня жил на даче. В грозу бегал по лужам, как в детстве. Туристы рубят лес. С каждым годом их больше, а деревьев – меньше.

Родители и Майка приехали на машине, привезли с собой Фильку. Он ползал по земле на брюхе, делал какие-то нелепые прыжки, перестал узнавать своих. Мама сказала, что от обилия впечатлений он может рехнуться, и унесла его в дом.

3.7

Критик М-ский сказал Гале И.: «Вы молодежь, вам это внове, а мы уже привыкли. Такое было уже много раз. Ничего страшного».

Мерзкое ощущение полной незащитности.

Петербургские дома. Петербургские квартиры. Петербургские дворы.

Раскольников жил на Вознесенском проспекте (теперь пр. Майорова).

Что такое политика?

Из крана торопливо капает вода. Часы. Все утыкается во время.

Время и теория относительности.

Какой-то художник изобразил пространство в виде чаши. Он пришел к этому математическим путем, но не без помощи интуиции.

Куда же идет искусство?

Статья Левы М. о кибернетике. Рано или поздно должно возникнуть общество механизмов, которое будет развиваться совершенно самостоятельно.

Лем.

Я борюсь только за свою совесть. С чистой совестью приятно жить, и умереть – тоже приятно.

«Мрак существует, но нельзя способствовать его распространению».

10.7

Живу на даче. Идут дожди. Птицы уже не поют.

Сегодня всю ночь снился длиннейший сон. У него была сложная композиция со вставными новеллами, как в старинном романе. Одна из новелл:

Я иду с каким-то человеком, он ругает евреев. Сзади идет дядя Миша – парикмахер, приятель покойного дяди Феди. Он окликает меня и спрашивает – неужели я тоже антисемит? Мне стыдно, я оправдываюсь. Тут подходят люди в грязной рабочей одежде. Один из них кричит дяде Мише: «Ну что, жид!» Я хватаю его за рукав, но он вырывается и убегает. Я бегу за ним, и на душе у меня подлое чувство облегчения: дядя Миша уже далеко и мне не нужно больше его защищать.

12.7

С отцом на «москвиче». Искали речку, на которой 18 лет тому назад я ловил хариусов.

Леса. Быстрые речушки с красной водой. Заросли цветущего Иван-чая. Остатки финских хуторов – фундаменты из гранитных глыб, полуразвалившиеся сараи.

Озеро. Вечер. Тихая вода. Лесистые мысы, уходящие к горизонту. Тишина. Слышно, как на другом берегу переговариваются рыбаки. Озеро напоминает широкую реку средней полосы России.

Шоссе. Лось в кустах у обочины. Увидев машину, шарахнулся в сторону, но далеко не убежал – остановился на полянке. Девочка лет тринадцати, в узких брючках. Едет на велосипеде. В руке у нее жестяная банка из-под консервов, к которой приделана веревочка. Девочка то и дело останавливается, кладет велосипед на песок и лезет вверх по откосу. Она собирает землянику.

13.7

Вдоль линии финских укреплений растут старые темные ели. Кругом сосны, а здесь ели. Они как бы подчеркивают особый, зловещий смысл этих длинных, зигзагообразных ям и бесконечного ряда огромных гранитных камней с острыми, рваными краями. Финскую войну теперь стараются не вспоминать, будто ее и не было. А надолбы как новенькие. Даже мох на них не растет.

19.7

Юбилей Маяковского. Невозможно представить его семидесятилетним стариком.

Выспренность юбилейные речи. «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока».

Умер Асеев. Будто ждал он этого юбилея, ждал и терпел.

27.7

Лес. Сижу на камне. По дороге, мелькая за деревьями, идут туристы с транзисторным приемником. Голос по радио: Вагнер. Вступление и рассказ Лоэнгрина из оперы «Лоэнгрин». Голос движется по лесу. Потом движется музыка.

Рядом со мной воронка диаметром метров восемь и глубиной метра два. Видимо, от крупной авиабомбы. Чуть подальше – зигзаг осыпавшихся траншей.

Вышел на дорогу. Еще одна группа туристов. С ведрами, с гитарами, с рюкзаками. Один из них сказал, кивнув на меня: «Смотрите, с книжечкой! Что-то сочиняет!»

У дороги вторая воронка, такая же. От первой до нее метров 150. Это называется «рассеивание».

2.8

Магия пропаганды. Когда уверенным, громким голосом говорят откровенную чепуху, невольно начинаешь сомневаться: а не правда ли это? А не дурак ли я?

3.8

Памятник Дзержинскому первоначально делала Мухина. На эскизе Железный Феликс стоял с огромным мечом. Были замечания, что эскиз несколько выпячивает карательный характер ЧК и не говорит о воспитательной роли этой организации. На нынешнем памятнике Дзержинский вовсе безоружен – осталась одна «воспитательная роль».

В связи с китайский конфликтом борьба с проникновением буржуазной идеологии как-то ушла на второй план.

При «культе личности» был еще один культ – «культ мученичества». Люди погибали за веру с именем Сталина на устах.

4.8

Раньше человек с оружием противостоял другому человеку с оружием. Теперь оружие вообще противостоит человеку вообще. Раньше пацифизм не всегда был уместен. Теперь он – неременное условие существования.

5.8

Электричка на Сосново. Две девушки лет по восемнадцати везут в корзинке котенка, то вытаскивают его, то запихивают снова. Девушки хорошенькие. Вышли в Орехове. Стояли на платформе, смеялись, что-то делая опять со своим котенком. Поезд тронулся. Они проплыли мимо, глядя на меня в окно.

Но с кошками не всегда все обстоит благополучно. Как-то ехал в автобусе. Рядом сидела женщина с авоськой. Из авоськи вылез совсем юный котенок, черный с белым носом. Женщина гладила его, говорила ласковые слова и вдруг сказала мне со вздохом: «Вот, везу его в поликлинику, усыплять. Сынишку на все лето в лагерь отправила, котенок весь день один в комнате. Куда его денешь?»

Мне стало мучительно жалко этого котенка. Он был такой веселый и ничего не подозревал.

Вечер. Наш участок в тени, а другая сторона озера ярко освещена. Как в театре. Над головой дятел долбит сосну. Запах цветов.

Самое раннее «цветочное» воспоминание.

В 37-м году летом отец вез меня из Хабаровска в Ленинград. Где-то в Забайкалье поезд остановился среди поля (закрыли семафор). Поле было синим от ирисов. Пассажиры высыпали из вагонов и стали жадно рвать цветы.

Ночь. Огромная оранжевая луна. Над озером туман. Он подымается вверх столбами. Луна попала в такой столб и стала совсем красной.

8.8

Литература и «воровская романтика». «Вор» Леонова, «Один год» Ю. Германа. Последний зачитывается до дыр.

Каждый хулиган считает себя сверхчеловеком. Забавно, что в лагерях уголовники называли политических фашистами. Немцы с успехом использовали наших блатных для самой грязной работы.

9.8

Я повис в воздухе. Даже небольшой ветерок может унести меня бог знает куда. До тех пор, пока не расстанусь с мыслью, что я поэт, покоя мне не будет. В последние два месяца я часто забывал об этой своей болезни, и было легче.

По радио мужской голос поет: *Kuss mich noch mal!*.. Есть ведь еще красивые женщины и прочие приятные вещи.

10.8

Конференция писателей Европы.

Роскошная по форме, злая, нелогичная речь Леонова.

«Когда же автору не под силу или страшновато вступать в этот грозный диалог с большим, израненным в бою либо усталым посла трудового дня читателем, он прячется от него в так называемые башни из слоновой кости...»

Обскурантизм чистой воды.

14.8

Блок умер от тоски и недоедания.

Есенин, Маяковский и Цветаева покончили с собой.

Гумилев, Павел Васильев, Борис Корнилов, Бабель, Артем Веселый, Хармс, Введенский, Олейников – были расстреляны.

Кедрин и Клюев погибли «при загадочных обстоятельствах». Мандельштам умер в лагере.

Заболоцкий много лет провел на каторге

Александр Грин и Андрей Платонов влачили полуголодное существование и умерли всеми забытые.

Зощенко, Ахматову, Олешу, Булгакова много лет не печатали.

Бунин, Леонид Андреев, Ремизов, Пильняк, Замятин, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Кузмин, Ходасевич, Давид Бурлюк умерли на чужбине.

25.8

Вильнюс. Костел Святой Анны. Вечер. Розовые блики на стене. В приделе кто-то играет на фисгармонии. У алтаря на коленях стоит женщина.

Юродивый – парень лет двадцати в клетчатой рубаше. Мнет в руках кепку. Взгляд напряженно-выжидательный. Майка сказала: «Пойдем скорее! Я боюсь!»

29.8

Улица, ведущая к кладбищу. Роскошные новенькие особняки современной архитектуры. У каждого – гараж. Около особняков никого не видно, ни детей, ни взрослых. Но видно, что в них живут.

30.8

Никакого формализма в искусстве, разумеется, нет и быть не может. Если речь идет о форме, то этим уже подразумевается содержание. Форма, существующая сама по себе, – абсурд. Все дело в том, какое содержание. И какова степень условности.

31.8

Приехал домой. На столе письмо из «Нового Мира»: «А. Т. Твардовский прочел Вашу поэму и высказался против ее опубликования».

Так даже лучше. Ясность.

Перечитал последние свои стихи, кажется, я все же схватил лису за хвост.

8.9

Вчера в одиночестве напился и плакал. Сказать: пропадай все пропадом!

И слышать, как кругом говорят: такой способный, и губит себя!

Маразм.

11.9

Похолодало. Пришла «рыжая стерва». Будет опять мучить меня.

Одиночество должно быть чистым и прозрачным.

17.9

Огромные очереди за хлебом. Паника. Раскупили всю крупу, макароны и прочее. В учреждениях проводят разъяснительные собрания. Неурожай. Но должны же быть государственные запасы! Ведь на этот случай они и делаются.

23.9

Мао Цзэдун сказал, что третья мировая война вряд ли уничтожит половину человечества, «но не так плохо было бы и половину».

А были Ду Фу, Ли Бо, Конфуций. Впрочем, у немцев тоже было немало.

Предстоит «война с саламандрами».

2.10

Перечитываю «Гаргантюа». В предисловии сплошные перлы. «В конечном эпизоде романа в ответ на вопрос талемитов Божественная бутылка отвечает: “Тринк!” – “Пей!” Но не о вине идет здесь, разумеется, речь, что бы ни пытались доказывать буржуазные реакционные литературоведы. Великий писатель призывает своих потомков и последователей пить из великого источника Природы и Науки и смело идти все дальше и дальше по пути знаний к светлому, счастливому будущему».

<...>

8.10

Дешевое золото осени.

9.10

Два полюса литературной борьбы – «Новый мир» и «Октябрь». Кочетов Твардовского или Твардовский Кочетова?

16.10

Умерла Эдит Пиаф. Ее похоронили рядом с Шопеном. Страстный и трагический голос. Нечто подобное я слышал только однажды – на похоронах Майкиной бабки. В пустой гулкой синагоге пел кантор. Пел о жизни и смерти. О чем-то просил, кому-то угрожал. Было жутко и торжественно. На облезлой штукатурке купола лежал желтый блик тусклого осеннего солнца. Когда кантор кончил, блик погас. Гроб закрыли и понесли по грязной дорожке вглубь кладбища. Нахальные нищие приставали к провожающим.

17.10

Рылся в старых журналах, выискивал цветные фотографии для диссертации. В одном из номеров «Китая» нашел вкладку. В 1960 году в связи с приездом на Тайвань Эйзенхауэра китайцы обстреляли близлежащие острова. Вкладка посвящена этому событию. «Произведенный обстрел является выражением презрения и пренебрежения, которые питает великий китайский народ к бумажному тигру – США... Стреляй яростно, стреляй без перерыва! Пусть дрожит “демон чумы” Эйзенхауер!...» Когда крыса перебегает дорогу все кричат: «Бей ее!»

Злые и глупые дети.

Фотографии напоминают кадры гитлеровской кинохроники: тысячи одинаковых людей, стоящих ровными рядами на огромных площадях, – одинаково поднятые руки, одинаково орущие рты. Эпидемия тоталитаризма блуждает по планете.

18.10

Безденежье угнетает. Пытался продать книги – не взяли. Стоял в очереди и нервничал: возьмут или не возьмут?

Будто от этой трешки я разбогател бы.

25.10

Привыкаю к роли неудачника. Противоестественно быть живым трупом. Трупы должны гнить и давать соки для новой жизни.

Диссертация мешает писать стихи.

28.10

Профессор Пилявский вынуждал меня подписаться на «Правду»: «Вы подписались на иностранные журналы, и не подписались на “Правду”! Что подумают в парткоме! Вы же аспирант! Вы же будете защищать диссертацию!»

Примитивный политический шантаж.

2.11

Дневник – та же машина времени. Но она работает только в одну сторону – к прошлому, грустная машина.

16.11

Какая это сладкая мука, когда сознание борется со сном! Особенно утром. То просыпаешься, то снова проваливаешься куда-то в потусторонний мир.

С моря дует сильнейший ветер. Он пронизывает наш дом насквозь. Воеет в трубах вентиляции, в форточке, в щелях дверей.

21.11

Тучи в окне летят в разные стороны – верхние на меня, нижние вбок. Крупный снег и ветер. И вдруг – солнце.

Сколько покойников живет в каждом из нас! Когда мы умираем, их хоронят вместе с нами, хотя, быть может, они еще живы. Быть может, они даже будут приходить на кладбище и класть цветы на собственную могилу.

Майка сказала, что у меня своеобразный ум – не широкий, но глубокий, нечто вроде колодца.

24.11

Беспечные, насвистывающие и напевающие люди раздражают меня.
Закончил перевод Закани.

28.11

Позвонил начальник Особого отдела: «Зайдите сейчас же! Надо выправить ваши документы!»

Пришел. Начальник не один, с ним некто в штатском.

– Познакомьтесь, пожалуйста!

– Рад познакомиться! Николай Николаевич! – незнакомец улыбается и протягивает мне удостоверение сотрудника КГБ.

Два часа Николай Николаевич демонстрировал передо мной повадки сотни раз виденного в кино заурядного детектива. Начал ласково и издалека. Через полчаса выяснилось, что его интересуют те две француженки – аспирантки московского университета, которые приходили к нам полтора года тому назад. С ними были две девушки и парень, выдававший себя за художника-абстракциониста.

– Мы все знаем, но хотелось бы выяснить некоторые подробности. Вы не помните, как звали тех двух девушек?

– Нет, не помню. Прошло много времени, и я ни разу с тех пор их не видел.

– Та-а-а-ак!

Пауза. Николай Николаевич смотрит на меня пронзительным взором. Потом вдруг приближает свое лицо к моему и говорит быстро и громко:

– Одну из девушек звали Люся?

– Да, кажется, Люся. Точно не помню.

Николай Николаевич разочарованно откидывается в кресле.

– Не-е-ет! Вы со мной не откровенны! Вы что-то скрываете! Вы не хотите нам помочь!

Два раза за время разговора звонил телефон.

– Да, да, сейчас кончаю! – многозначительно говорил в трубку Николай Николаевич и поглядывал на меня.

– Я вас не понимаю! Вы молодой специалист и с самого начала портите себе карьеру. Глупо! Вам, наверное, захочется поехать за границу, вам даже нужно будет поехать за границу с научными целями, но мы не сможем вас пустить! Глупо!

– Помилуйте! Я же ничего от вас не скрываю! Но ведь действительно – прошло уже полтора года!

– Ну ладно. Если еще что-нибудь вспомните, позвоните мне.

12.12

Стужа.

С тех пор как я прочел «Ивана Денисовича», я стал бояться зимы. Мысль о романе.

Сны и явь. Он – почти я. Она может быть иностранкой. Его друзья, его враги. Искусство, литература. Век. Его недоумение, его марсианство. Его смерть.

Раскрыл Блока.

Как сладко и светло и больно,
Мой голубой, далекий брат!

Октябрь 1906 года.

Стужа.

22.12

Написал три стихотворения. Доволен собой. Хорошо быть довольным собой.

С удовольствием перечитал книжечку Кушнера.

Сегодня за окном весь день крупный косой снег.

25.12

Ночью шел по набережной от Литейного моста до Академии художеств. На колокольне Петропавловского собора часы проббили два. Было странное чувство – будто остался я в городе совсем один, и он, город, теперь принадлежит только мне. Все эти дворцы, колонны, фонари – всё мое. Мне крупно повезло – я выиграл этот город по лотерее.

29.12

Человек с мокрыми красными губами. Он называет меня по имени и отчеству, а я даже не знаю его фамилии.

Ласково так улыбается и смотрит внимательно.

31.12

На улице слякоть, снег почти растаял. Будет ли этот год новым?

Сегодня ночью на кухне вдруг оборвалась полка с посудой. Все проснулись от страшного грохота. Потом мне приснилось, что рядом с Майкой возникло какое-то черное, скользкое непонятное существо. Я закричал и проснулся.

По радио поют дети:

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла...

Двадцать пять лет тому назад я пел то же самое.

1964

1.1

Проснулись рано и пошли гулять. Город пуст. На взморье ни души. Лед весь изломан и стоит дыбом. Вороны летают стай и непрерывно, надсадно кричат. Серое сумеречное утро.

2.1

Все говорят о Бродском. Ходят слухи, что Ахматова и Эренбург ходили в ЦК.

4.1

Закончил «Афродиту». Не уверен, что вышло.

Майка сказала, что сегодня я кричал во сне: «Караул! Спасите!»

Мы долго смеялись. А не так уж смешно. Кошмары снятся почти каждую ночь.

«Добро и зло» в мировой литературе.

Фольклор. Античность. Шекспир. Гюго. Диккенс. Достоевский. Ницше. Андрей Платонов. Солженицын.

Служить добру или стать над добром и злом?

Христианство и проблема добра и зла.

Апокалипсис – торжество зла, но после вечное царство добра. Добро как символ жизни и зло – как смерть.

Добро – условие существования человечества.

Абсолютность добра и зла. Где критерий абсолютности?

Вечное коромысло.

Жадность мешает мне работать. Стараюсь не проронить ни крошки и пихаю в поэмы все что попало, всякий мусор. Потом начинаю чистку. От этого низкий КПД.

Интересно следить за женщинами. Как много и часто попусту думают они о мужчинах! И за что им такое наказание?

5.1

Прослушал записанную «Афродиту». Вроде бы неплохо, а почему – сам не понимаю.

Сегодня снилось, что еду в трамвае, а на мне длинный черный плащ и черная плоская шляпа с плюмажем, как у Александра Первого.

Говорят, что каждую ночь человек видит четыре сна, но запоминает только последний.

6.1

С годами мое чувство Петербурга становится острее. Четыре часа ходил по городу.

Фиолетовый закат. Трубы и кресты антенн. Перспективы темных улиц. Мосты. Решетки. Фантастические нагромождения домов. Тусклые лампочки в грязных и таинственных подъездах.

В столовке, что на углу Садовой и Крюкова канала, пил пиво. Когда-то это был, видимо, третьеразрядный кабак. Таким он и остался под вывеской столовой. Пьяные мужики сидят в пальто и в шапках. Водку разливают под столом, на столе для маскировки стоят бутылки с лимонадом. На стене объявление: «КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ распивать принесенные с собой спиртные напитки».

7.1

Еще одна столовая. На Московском проспекте.

Обедает семья. Отец – низкорослый, с круглым лицом и маленькими злыми глазками, небритый, в сапогах бутылками. Мать – рыхлая женщина неопределенных лет, плохо причесанная, в каком-то нелепом длинном балахоне, в валенках с галошами. Два мальчика. Одному лет 15 – он, видимо, школьник. Другой, постарше, в форме курсанта военного училища. Он сидит в шинели на краешке стула и не ест. На лице выражение почтительности и застенчивости. Почтительности к родителям и застенчивости перед чужими, что родители его такие неказистые, бедные и так выделяются среди городских.

На полу стоит дешевенький картонный чемодан, рядом с ним какие-то узелки, свертки. Родные приехали навестить сына в городе. Сын будет офицером, выбьется в люди. Он не ест, потому что все равно его ждет ужин в училище – зачем же деньги зря тратить?

За стол они сели не сразу. Долго, не раздеваясь, стояли в нерешительности у стойки, шептались. Наверное, еда казалась им слишком дорогой.

Едят медленно, тщательно, по-крестьянски.

17.1

Таисия Николаевна сказала, что в жизни надо быть немного артистом. Так легче.

Вечер встречи с редколлегией журнала «Знамя». К. Симонов, С. Щипачев, В. Кожевников, А. Вознесенский и еще несколько поменьше. Зал Кировского дворца культуры был переполнен, стояли в проходах.

Симонов читал старые стихи, Щипачев – новые, о молодежи, и весьма либеральные, – волновался и был очень трогателен. Но все пришли, разумеется, ради Вознесенского. Кумир держался просто, был просто одет (свитер, серый пиджачок) и выглядел совсем мальчишкой. Читал уверенно, артистически повышая и понижая голос. Налегал почему-то на «а» – ПА-А-А-пробуйте, ПА-А-А-донок, БА-А-льшой. Буря восторга, крики «браво». Споры в публике. Не давали уйти со сцены. Кожевников что-то говорил в микрофон, умолял, но его не слушали. Наконец Кожевников крикнул, что вечер закрыт. Несколько литераторов так и не успели выступить. Уходя со сцены, Вознесенский подошел к микрофону и сказал: «Спасибо». На это последовал новый взрыв энтузиазма.

Две старушки, сидевшие передо мной, ожесточенно хлопали Симонову. Когда читал Вознесенский, они пожимали плечами и вопросительно глядели друг на друга.

22.1

Из каталога институтской выставки Горлит изъясил мою картинку, которая называлась «Московский пейзаж». За то, что на переднем плане была изображена церковь. Рядом с нею был нарисован новый современный дом, на заднем плане торчали строительные краны, но это не помогло.

Юмор – единственное средство успокоения.

24.1

В Казанском соборе стал фотографировать роспись. Подошла служительница музея и сказала, что фотографировать нельзя. Разозленный, отправился к директору, сунул ему свою бумажку.

– А почему, собственно, нельзя?

– Потому что кое-кто может сфотографировать экспонаты для того, чтобы использовать их в целях религиозной пропаганды! Вы что думаете, тут дураки сидят? Все не так-то просто!

Говорят, что обком получает множество писем в защиту Бродского. А Бродскому не так уж плохо. Скандал – начало славы.

Бунинская грусть.

Бунин – это конец. Конец эпохи литературной и исторической. Грусть прощания и воспоминаний. Грусть возвышенная и изошренно-сладостная. Грусть, доведенная до предельной степени совершенства.

Все чаще ловлю себя на мысли, что по складу ума и души я человек XIX века и мои попытки быть современным просто смешны.

31.1

Мужицкая, прянично-навозная литература 20-х годов была своеобразной реакцией на утонченную дворянскую литературу XIX века. Рухнула запруда, хлынул мутный, мощный поток. Есенин, Артем Веселый, Павел Васильев. Всё брали нутром, талантом от земли. Традиции их не тяготили, потому что они не знали их. Но они создали свои традиции. Теперь трудятся их эпигоны.

И вечная тема – крепкий народ и хлипкая интеллигенция.

Критики тшчатся развенчать «святую троицу» – Кафку, Джойса, Пруста. Рядовому читателю совершенно непонятно, из-за чего разгорелся сыр-бор, потому что он не имеет возможности познакомиться с творениями этих злых гениев – книги их не издавались десятилетиями и стали библиографическими редкостями. На Западе же советской критикой никто не интересуется.

Т. Мотылева в «Иностранной литературе» с явным наслаждением цитирует большие куски из «Улисса», но отцом современной литературы она называет, разумеется, Горького.

«Отказ от познания подлинной реальности, подмена ее игрой писательского воображения обедняет и губит искусство романа». Бедная Т. Мотылева.

Статья А. Гладкова о Платонове.

Неверно, что позднее у Платонова – самое лучшее. Постоянная травля сделала свое дело. Чтобы хоть немного печататься, он портил свой стиль, сглаживал его.

Его обвиняли в «оглуплении», «искажении жизни», «злорадном глумлении», «бессмысленном кривлянии», «злопахательстве», «злонамеренном юродстве». Дивно.

И все же это, наверное, лучше, чем быть вообще вне литературы.

1.2

Несчастливая диссертация вылезает из меня туго, как жилистое мясо из ржавой, тупой мясорубки.

В 30-х годах выселяли колхозников «чернодосочных» районов. Чего только не делалось в 30-х годах!

Надо чаще слушать хорошую музыку – Баха, Моцарта, Стравинского.

2.2

«Судьба Блока. Материалы о Блоке и символизме».

«...Газетчики глумились над ним как над спятившим с ума декадентом. Из близких (кроме жены и всепонимающей матери) никто не воспринимал его лирику. Но он не сделал ни одной уступки...»

Ал. Ал. был, как всегда, далек от личных счетов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям «непереносным, обидным, намеренно унижающим»...

У Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного «нет»...

Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый... он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и, в сущности, уже безумным человеком...»

Несчастные мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву...

Вчера ночью и утром – стыд за себя, за лень, за мое невежество в том числе. Еще не поздно изучать языки...

Правду, исчезнувшую из русской жизни, возвращать – наше дело...

В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает, преследует, я отбиваюсь, мне страшно. Что это за страх?

Ненавидящая любовь – это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней...

Блок принял революцию, как спасение от «буржуазной сволочи», но буржуазию он ненавидел как дворянин и интеллигент. И еще он принял революцию, как долгожданную катастрофу, которую желал и проповедовал страстно так много лет. Он принял ее, как очистительный смерч, как искупление. Здесь было и сладкое чувство мести кому-то за что-то, как у детей: «Ну и пусть! Ну и ладно!» Здесь была и легкость предельной безнадежности: «Пропадай все пропадом!»

Надо уверовать в свою миссию и делать свое дело. Иначе – гибель.

3.2.

Часто снится одно и то же кладбище где-то в Петергофе или в Стрельне. Как тамошние парки, оно взбирается на пригорок, и я всякий раз стою на этом пригорке у ограды и смотрю вниз. Зелень деревьев густая, но в ней просвет, и в просвете виден залив, серый, бесцветный.

Вариациям князя Мышкина в русской литературе нет числа. Например, Фарбер у В. Некрасова. В кино Смоктуновский играет его именно так.

В бешеных ритмах современных танцев есть что-то апокалиптическое. Веселье на грани безумия.

«Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой!»

Тот искуситель, «черт» карамазовский, спрашивает меня: а что если гордость твоя – яд и погибель? Если не в мир, а в зеркало глядишь ты – стукнуть легонько, и оно вдребезги? Если не крест несешь ты и не на Голгофу? Если бессмертие, которого ты возжаждал, вовсе не там? Если сел ты в тот автобус, да не в ту сторону едешь, и из гордости же спросить не хочешь – в ту ли?

И я отвечаю черту: и славно! Дождемся осени – цыплят наконец сосчитают. А если некому и некого будет считать, то там, где-то там, за гордыню меня не осудят.

Но черт не все вопросы задал. Хитрый. Еще много бесед предстоит мне с рогатым, ох, много!

4.2

Ю. Будто где-то я ее раньше видел.

«Хорошо вам, поэтам: написал и положил в ящик стола. А каково нам, режиссерам! Дома же с родственниками не поставишь спектакль!»

5.2

Ленинградский «День поэзии». 1964 год.

Будто писал кто-то один, кто-то двупольный и до странности скучно думающий.

Ю. рассказала об Ахматовой. Анна Андреевна простодушно хвастается тем, что ее опять стали печатать.

– Вот, поглядите, «Новый мир» вспомнил обо мне! А вы видели мои стихи в «Дне поэзии»?

Кокетничает. Любит эффектно одеваться. Тщательно пудрится, когда ждет гостей.

– Вы знаете, это стихотворение Бродский посвятил мне!

Странно, невероятно, что Анна Ахматова еще жива, еще пишет. Когда-то, бог знает когда, были Ивановские среды «на башне», была «Бродячая собака», был «Привал комедиантов». Все это уже давно отошло в область легенд. А эта женщина с патрицианским профилем живет где-то рядом, в трех-четыре километра от меня.

6.2

Все стихи мои и поэмы – один крик.

Лишь бы с ума не сойти, вот что.

7.2

По ночам частые приступы «возвышенных чувств».

Бесконечный спор о Солженицыне. Тома критических статей. Лязг мечей и крики злобы. И каждый видит то, что ему хочется. Ивана Денисовича разрывают на части, топчут ногами, водружают на пьедестал. Его выдвинули на премию и страсти накаляются.

13.2

Сегодня туман и красное солнце, как в «Жар-птице». Стою и наблюдаю, как течет моя жизнь. Половина ее уже вытекла, это наверняка. Но, быть может, осталось уже лишь на доньшке – не вижу, темно там, откуда она вытекает.

Наша лестница превратилась в приют для неких несчастных молодых людей, которым больше негде встречаться. Площадки усеяны огрызками и корками. На измызганных подоконниках стоят водочные бутылки. После выпивки юноши развлекаются – бросают горящие спички в потолок. Спички прилипают к штукатурке и оставляют на ней большие черные пятна.

14.2

К вопросу о кошках и о добре и зле.

В автобусе девушка везет к ветеринару котенка. Некие злые молодцы напоили его этиловым спиртом, чтобы проверить, можно пить этот спирт или нельзя. Котенок три дня рвет. Девушка отпросилась с работы, потому что лечебница для животных работает только днем, и котенок-то не ее, а общественный. Он в учреждении живет, в том самом, где бывает этиловый спирт.

«Ненавижу страдальцев!» – говорил Горький. И слыл гуманистом. Он же написал: «Если враг не сдается, его уничтожают».

– Ненавижу этого страдающего котенка! – сказал бы Алексей Максимович. – Мало ли бегают по улицам здоровых, веселых котов!

– Ненавижу злых молодцев, которые хлещут этиловый спирт! – говорю я. – С моей точки зрения, они имеют меньше прав на жизнь, чем этот котенок, который никому не делает зла. Жестокий человек хуже животного, хуже даже злобного животного, потому что животное не сознает своей злобы, а человек сознает и наслаждается ею.

А «враг» – слово сомнительное. Враг – это твой античеловек, тот, кого ты должен убить. Но еще неизвестно, что лучше – убить или быть убитым.

Опять Толстой. И Ганди.

Да нет же, я тоже злой. И способен убить. Тех пьяниц, отравивших котенка, я, ей-богу, убил бы!

15.2

Одному инженеру снятся странные сны. Один сон на целую неделю. Потом перерыв – и опять. Будто живет он на неизвестной планете среди неизвестных существ, похожих на людей. Жители планеты разговаривают с инженером на незнакомом языке, который, как ни странно, ему понятен. Все сны хорошо запоминаются, но инженер от них очень устает. Врачи установили, что он в здравом уме.

18.2

Ужасающая моя непрактичность. Черт дернул меня взяться за диссертацию о синтезе!

Ночью записывал какие-то обрывки, не стихи, а лишь фрагменты стихов, которые возникали во мне сами собою. Утром прочел – не так уж интересно, но есть кое-что.

Боюсь, что не выдержу и покончу с собой, боюсь смерти. Боюсь писать. Боюсь, что пропадет желание писать. Боюсь сидеть дома. Боюсь ходить по улицам. Боюсь телефонных звонков. Боюсь, когда долго никто не звонит. Боюсь своей боязни. Боюсь того дня, когда уже не будет страшно.

25.2

Полковники. Разные голоса, разная манера улыбаться и двигать руками. Полковники явно живые. Но они абсурдны. Их не может быть.

Театр абсурдных полковников. Их бессмысленные монологи доставляют им удовольствие. Они шутят, они потирают руки.

Килотонны. Мегатонны. Предупреждающий удар. Район поражения. Внезапность нападения. Рентгены. Токсины. Чумные блохи. Боевой дух.

Не будет продолжения. Умирали и знали, что кто-то остается, что остается чья-то память, быть может, и благодарность. Теперь смерть будет абсолютным концом.

27.2

Я был глуп и стеснялся себя, хотел быть каким-то другим. Я был младенцем. Теперь я уже подросток. Скоро стану взрослым.

2.3

Пушкинские парки. Тишина и какой-то особенно белый снег. Руины гвардейских казарм. Арматура – как прутья деревьев. Стены церкви исписаны похабными надписями. Среди надписей остатки мозаики – широко раскрытые, страдальческие глаза богоматери.

4.3

Белла Ахмадулина (в ресторане «Астории»).

Замысловатая прическа. Нарисованные глаза. Моднейшие туфли. В фигуре что-то детское – талии почти нет, но тело тонкое. И красивые ноги.

С нею некто седой, лет пятидесяти.

5.3

Можно бороться за правду в искусстве и за правду самого искусства. «Новый мир» делает первое, но второе важнее.

Солженицын – все же стилизатор, талантливый, как Жолтовский, например. Сама его манера письма как бы говорит: так было, так будет. А это неправда. Раньше такого не было. И впредь такого тоже не будет. Будет иначе.

6.3

Проснулся ночью, и мне показалось, что я лежу под черным небом, на котором только одна звезда. Но это был блик на потолке – лунный свет пробился сквозь шторы.

С пристрастием перечитал «Плевок» и «Прогулку». Все-таки кое-что я умею.

11.3

В гостях у Мочалова и Слепаковой.

Мои последние стихи им понравились. «Это путь для белого стиха», – сказал Лева. После спорили о «хаосе», о способах его преодоления и о пресловутом долге художника. Нонна больше молчала и как бы посмеивалась про себя. Пили сухое вино и потом пиво. На закуску были креветки. «Ты пьян, Лева, – сказала Нонна, – у тебя красные пятна под глазами – это верный признак!»

Мочалов пишет книги об искусстве. Слепакова занимается переводами. Слухи о ее красоте несколько преувеличены.

– Все-таки надо печататься, обязательно надо печататься! – сказал Лева на прощанье.

Каждое утро, когда я еще лежу в постели, Филимонич прыгает на кровать и тыкается мокрым носом мне в щеку, издавая при этом нежнейшие бархатистые звуки. Потом он ложится мне на грудь и некоторое время дремлет. Его нос так близко от моего лица, что я ощущаю легкий ветерок его дыхания. Когда открываю глаза, вижу перед собой гигантскую кошачью морду с толстенными усищами – она закрывает весь потолок.

Вдруг появилось чувство самодовольства. Будто я уже добился, чего хотел, и все в порядке. А чего я хотел?

Агония зимы. Солнце светит вовсю, пробивая нашу квартиру насквозь, а на окнах белые пушистые травы – мороз. С крыш сбрасывают снег. Он падает с глухим тяжким стуком. Будто стрельба идет в городе.

13.3

Видимо, путь не во внешнем усложнении, не в декорировании стиха, а в максимальном его оголении. Раньше стихи могли быть игрой созвучий, набором «самовитых» слов. Теперь они должны быть игрой ума. Мысль – тонкая, разветвленная, слоистая, вибрирующая, – вот основа. При строгом, простом словаре. Незачем выдумывать новые слова, надо оживить старые.

Все жаждут взглянуть на мир сверху, но можно получить удовольствие, глядя на него изнутри.

17.3

По Неве плывут редкие льдины. Широкий оранжевый столб от вечернего солнца уходит в воду.

Написал еще один стих о египетском ребенке. Написал и растрогался.

19.3

Ругают за содержание в поэзии, ругают изящную «бессодержательность». Но неизящная бессодержательность еще хуже, и такой множество, куда больше, чем изящной, – ее бы и ругали.

24.3

Начиная с раннего Средневековья в Европе происходило накопление культурных ценностей. В середине двадцатого века началось их уничтожение. Запылали города и рухнули древние соборы. Ничто не возместит эти потери.

25.3

Написал «Белую кошку». Долго мучился над приемом, а он оказался очень простым. Перечень, и в конце – узел. Стихотворение напоминает по форме веник – расходящиеся ветки с одного конца стянуты веревкой.

Оказалось много отходов. Но это хорошо. Раньше я из стихов делал поэмы, теперь – наоборот.

1.4

Теплое пасмурное утро. Почему-то разволновался. Всплыли какие-то смутные воспоминания. В них была такая же теплая пасмурность, такие же лужи и грязный, талый снег.

10.4

Трудно сохранять достоинство. Но увлечение мелочами позволяет забывать о нем. Китайцы наглеют. Произошел великий раскол, история сделала ход конем. А я наклеиваю фотографии.

11.4

Скандал в Эрмитаже.

Устроили полулегальную выставку четырех «левых». Директора сняли. Кого-то исключили из партии, кого-то будут судить «товарищеским судом».

А. была в запасниках Русского музея. Там множество полотен Кандинского, Малевича, Филонова. Служащие запуганы. Фотографировать ничего нельзя, записывать ничего нельзя. Искусство, оказывается, так могущественно!

3.5

Андрей Битов на глазах становится знаменитостью. Когда-то Борис Пониловский сказал: «Битов будет хорошим советским писателем!» – так оно и выходит.

8.5

«Гамлет» Козинцева. Всё в Смоктуновском. Он родился Гамлетом. Но Эйзенштейн сделал бы «Гамлета» лучше.

Текст в переводе Пастернака, – его имя в титрах. Своего рода публичная реабилитация.

15.5

Похоронили Тоню.

Удручающая повторяемость. То же Охтинское кладбище, тот же гроб из сырых сосновых досок, покрашенный розовой краской, та же ленивая сонная лошадь, запряженная в грязную телегу, те же лужи на кладбищенской дороге.

Женщина с грубым крестьянским лицом и шербатым ртом. Командует: «Ставьте сюда! Разверните! Ногами вперед! Ногами вперед!» На панихиде в церкви держала свечку и крестилась истово. Когда телега тронулась, стала хватать всех за руки: «Подайте, Христа ради! Я же и цветы подносила, и крышку направляла!»

Поминки. Все пьют, жрут и не думают о покойнице.

Вечером – гости. Мочалов и Слепакова.

Нонна тискала Филимоныча, читала стихи и пела песни. Мочалов тоже читал, но меньше. Потом был разговор о современном искусстве. Наши взгляды разошлись. Жаль.

20.5

Выборг. Музей города. Весь он размещается в одном небольшом зале. Рядом с залом маленькая комнатка. Здесь за двумя сдвинутыми вместе столами лицом друг к другу сидят директор музея и его секретарша. Директор – отставной военный, глупый человек. Секретарша – красивая девушка с губами Софи Лорен, коричневый свитер плотно обтягивает ее тонкую талию и высокую грудь. Секретаршу зовут Светлана.

Брожу по городу и размышляю: такая девушка не может быть свободной, быть может, она даже замужем.

Покупаю два билета в кино и возвращаюсь в музей. Директора нет. Светлана читает книгу. Она сразу соглашается – я должен ждать ее у входа в кинотеатр.

Фильм посредственный, с потугами на современность. Светлана иронизирует, я тоже. Полное взаимопонимание.

После кино гуляем по городу. Я спрашиваю ее: «Как мне вас звать? Светлана? Света? Может быть – Сюзи? Что вам больше нравится?» – «Последнее», – отвечает она. Итак – Сюзи. Кроме всего прочего, у нее красивые глаза – серо-коричневые, чуть-чуть звериные, диковатые. Вообще в ее лице есть что-то простонародное, и ей это идет.

Она живет в высоком финском доме рядом с портом. Прощаясь, я поцеловал ей руку. Она смутилась и покраснела.

Возвращаясь в гостиницу, я думал все о том же: такая девушка, и совершенно свободна! Странно, право.

28.5

Лес. Деревья-красавцы и деревья-уроды. Береза обвивает сосну, льнет к ней всем телом. (Любовь деревьев похожа на человеческую.) Сломанные ветром елки, лежа на земле, продолжают жить, тянутся ветвями вверх, к свету.

На улицах вдруг появилось множество красивых женщин. С голыми руками и шеями, в коротких, обтягивающих зады юбках. Знать, лето уже началось.

30.5.

Девушка-работница шпаклюет цоколь дома на площади Ломоносова. На ней грязные, измазанные известкой, но модные брючки. Волосы не покрыты. Изящная прическа сделана с большим искусством и, видимо, тщательно оберегается. Когда девушка нагибается, на затылке видны многочисленные шпильки и заколки, поддерживающие это сооружение. Все прохожие заглядываются, и девушке это приятно.

4.6

У набережной в мелкой воде стоит лосиха. Толпа зевак. Останавливаются машины. Лосиха стоит совершенно неподвижно, как бронзовая, – смотрит на толпу. К ней пытаются подплыть на лодке. Она отходит в сторону, высоко поднимая ноги и показывая широкие копыта. Снова застывает.

По городу ходят люди с охапками сирени и черемухи. После дождя сладко пахнет землей и молодой травой.

7.6

Костя К-инский. «Нет поэта, кроме Бродского, и я, Константин К-инский, пророк его на земле!»

Помешан на стихах, прекрасная память (без запинки прочел большой кусок из моих «Осенних страстей»). Последние мои стихи ему не понравились, сказал – холодные.

24 года. Нечесаная шевелюра. Светлые, полубезумные глаза. Третий раз женат. Последняя жена ужа пыталась покончить с собой.

Рядом с ним я выгляжу добропорядочным обывателем.

13.6

Два типа «выходцев из народа». Одни выходят и признаются, что вышли, – становятся интеллигентами. Другие тоже выходят, но не признаются в этом и ломают комедию. Есть еще не «выходцы», но заигрывающие, вроде Ильи З.

Не терплю общества литераторов. У меня начисто отсутствует инстинкт стадности. Предпочитаю компанию елок и берез.

14.6

В три часа ночи ехали на такси по городу. Ярко освещенные солнцем, почти дневные улицы были совершенно пусты. Будто город внезапно вымер, но все осталось на своих местах. Выжили только дворники, и они, как ни в чем не бывало, подметают тротуары.

20.6

Приснился пухлый розовый младенец с седой стариковской бородой. Было чувство любопытства и отвращения.

24.6

Выборгский музей. Сюзи в черном узком платье, рот накрашен, глаза подведены, волосы перехвачены шелковой черной лентой. Она разговаривает по телефону, в голосе ее игра, она загадочно и многозначительно улыбается.

Приходит служитель музея и просит ее напечатать несколько подписей к фотографиям – в музее расширяют экспозицию. «Не буду я ничего печатать! – капризничает Сюзи. – Не хочу! Надоело!»

Однако печатает. Я ей помогаю – обрезаю бумагу ножницами. «Вы сегодня вечером свободны?» – «Да, но только до половины восьмого».

Ресторан выборгского вокзала. На столе коньяк, шампанское и конфеты. Подходит официантка, и Сюзи долго разговаривает с нею о каких-то своих делах, разговаривает полунамеками, как с хорошей знакомой. Ровно в половине восьмого Сюзи уходит. Я сижу один и пью коньяк с шампанским. Потом иду в гостиницу и заваливаюсь спать.

Ночью проснулся от каких-то жутких звуков. Их издавал сосед по номеру. Никогда еще я не слышал столь художественного и трагического храпа.

Встал рано и долго ходил по утреннему городу, пришел к дому Сюзи. Была половина девятого – в это время Сюзи должна идти на работу. Сел на скамеечку, стал ждать. Прождал целый час – Сюзи не появилась.

Пришел в музей. Директора нет, Сюзи сидит на своем месте и печатает на машинке. «Каким образом вы здесь оказались?» – «Я ночевала у подруги!» – «Бросьте печатать, пойдемте погуляем!»

Сюзи послушна. Идем гулять.

Проходим мимо парфюмерного магазина. «Хочу пудру!» – говорит Сюзи. «Какую пудру?» – «Немецкую, в этом магазине продается».

Заходим в магазин, и я покупаю ей пудру.

Сидим на вокзале и ждем поезда. «Я пойду в туалет, мне хочется покурить», – говорит Сюзи. «А здесь разве нельзя?» – «Здесь неудобно, я стесняюсь курить на людях». – «Чего

стесняться-то?» – «Да так, знаете, увидит кто-нибудь из знакомых...» – «Ну и что?» – «У нас провинция, у нас не любят, когда девушки курят».

Прощаемся на перроне. Я целую ее в губы. Она не сопротивляется.

Поезд трогается. Я машу ей рукой.

Поезд набирает скорость. Я смотрю на нее в открытое окно. Она стоит на перроне одна – высокая, стройная, рыжеволосая девушка двадцати одного года от роду. Месяц назад я не знал, что она существует.

29.6

Утром пишу стихи и с отвращением думаю о предстоящих служебных делах. Днем эти дела засасывают меня, и я забываю о стихах. И так все время: вверх – вниз, вверх – вниз. Качели.

6.7

Приехал в Выборг со студентами. Пришел в музей – на месте Сюзи сидит незнакомая девушка. «Простите, а где же Светлана?» – «Она уволилась, но иногда она еще приходит сюда».

Сюзи встретил во дворе. На сей раз платье было синее (с рыжими волосами очень недурно).

– Почему вы уволились?

– Уезжаю.

– Куда?

– Неважно.

– Я надеюсь, что сегодня вечером вы совершенно свободны.

– Нет, не совершенно, только до восьми часов.

– Неужели вы не подарите мне хоть один вечер целиком?!

– Подарю. Только не этот.

– Ну завтрашний, например!

– Завтра я вообще занята.

– Чем же, если не секрет, вы будете заняты?

– Я буду кататься на лодке. Меня пригласили.

– Но может быть, вы откажетесь?

– Не могу. Неудобно.

Да восьми часов сидела со мной в ресторане и курила сигареты, которые я привез ей из Ленинграда. Я вдруг заметил, что у нее очень худые кисти рук.

– Ужасные руки, правда? – сказала Сюзи. – Они всегда такие были, не знаю почему.

7.7

Лежу на кровати в своем номере и думаю о Сюзи. Она где-то с кем-то катается на лодке. Черт знает что!

Сажусь за стол и пишу ей письмо. Иду на почту и отдаю письмо девушке, которая выдает письма до востребования. Потом хожу по улицам и всматриваюсь в проходящих женщин – в каждой мне кажется Сюзи.

Опять высокий финский дом у порта. Поднимаюсь по лестнице, нахожу квартиру 33, звоню. За дверью долго бренчат ключи. Наконец дверь открывается. Женщина лет сорока с простоватым, но приятным лицом. Похожа на Сюзи.

– Здравствуйте! Я к Светлане. Она дома?

– Нет.

– А вы не скажете, когда она придет?

– Не знаю. Ничего не знаю.

– Разве Светлана не живет уже здесь?

– Да почти не живет. Вчера вот приходила.

– Вы ее мать?

– Да.

– Это правда, что она уволилась из музея?

– Не знаю. Она мне ничего не говорила. Может быть, и уволилась!

Пауза. Она стоит в дверях и с любопытством меня разглядывает. Потом говорит со вздохом:

– Светлана пошла по плохой дорожке. Никого не слушает. Делает, что хочет. В музее ее недавно разбирали на собрании...

– А что она натворила?

– Да так. Плохо относилась к сотрудникам. И за аморальное поведение... Вы, наверное, Алексеев?

– Да.

– Я читала ваше письмо и хотела написать вам. Плохо у нас со Светланой. Дома не ночует. Мы не знаем, где она, с кем она. Сегодня вот моя мама ходила, узнавала. Живет она с каким-то военным...

– Живет, а замуж не выходит?

– Да, замуж не выходит.

– А этот военный, наверное, женат? У него дети есть?

– Не знаю. Адрес только знаю. Хотите, я его вам дам? Сходите туда.

Я записываю адрес. Опять пауза.

– Простите, что я вас побеспокоил! Но Светлана ведет себя очень странно. Мне ничего не оставалось...

– Ну чего уж там! Заходите, я буду рада!

Выхожу на улицу. По гранитной лестнице поднимаюсь на холм. Солнце садится за крыши домов. Пароходные дымы рвет ветер.

– И прекрасно! Какое право имею я на жизнь этой девчонки? Зачем я ей? Так – «приятно поговорить с умным человеком»!

8.7

С утра занимался служебными делами, вместе со студентами добывал деревянные рейки, необходимые для обмеров.

Деревообрабатывающий комбинат. Директор в обеденный перерыв удит рыбу (озеро рядом). Подбираюсь к директору, перескакивая с камня на камень, и сую ему бумажку, полученную в горисполкоме. Он кладет ее на колено, подписывает и, не сказав ни слова, продолжает удить рыбу. Возвращаюсь на комбинат и отдаю бумажку главному инженеру. «Главный» – молодой человек сугубо интеллигентной наружности. Очень любезен – польстило, что «архитекторы из Ленинграда».

Сюзи встретил, подходя к музею.

– Зачем вы это сделали? – спросила она, зло сощурив глаза.

– Сюзи, хватит валять дурака! – сказал я, тоже разозлившись. – Если я вам не нужен, скажите прямо, а если нужен – извольте, я пробуду в Выборге еще две недели.

– Но меня в Выборге не будет! – сказала Сюзи.

– Значит, я вам не нужен.

– Я этого не говорила, просто мне необходимо уехать.

Идем на почту, и Сюзи получает мое письмо. Она читает, а я слежу за выражением ее лица. Прочитав, она некоторое время смотрит куда-то вдаль. Потом глубоко и жалобно вздыхает.

Договариваемся встретиться завтра вечером. Я пытаюсь поцеловать ей руку, но она испуганно отдергивает ее.

– Что с вами, Сюзи?

Сюзи молчит, глядя в сторону. Уголки ее рта чуть подрагивают.

9.7

Она пришла, опоздав минут на 20. В том же синем платье, в пальто нараспашку. На голове капроновый платочек, белый с крупными синими горохами. Концы его обмотаны вокруг шеи. Этот по-крестьянски повязанный платочек очень подходит к ее звериным глазам. Сюзи в сельском стиле.

Я фотографировал ее в городском саду около библиотеки Аалто. Позировала она с удовольствием.

– Сюзи, поверните голову налево! Сюзи, посмотрите на меня! Сюзи, не будьте букой, улыбнитесь!

Сюзи послушна.

Сидим в ресторане гостиницы. На столе все то же шампанское с коньяком (Сюзи обожает эту смесь). Она говорит, я слушаю. Она на редкость откровенна.

Родилась она на фронте. Отца нет. После школы работала машинисткой на Сетевязальной фабрике. Потом перешла в музей. Мать ее не любит, она мать – тоже. «Мы чужие люди. Она обыкновенная мещанка. Бесится. Все женщины бесятся в 45 лет. Завидует, что я молодая. Они с бабушкой жить мне не дают – требуют, чтобы я приходила домой в 5 часов!» Мать пожаловалась директору музея. Устроили собрание, стали спрашивать у Сюзи, почему она не ночует дома. Она сказала: не ваше дело! Не имеете права вмешиваться в личную жизнь!

Ее возлюбленный очень любит своего ребенка. А то бы он давно на ней женился. И она не настаивает: действительно – у ребенка должен быть отец. Но теперь из-за всей этой истории ей приходится уезжать (тяжкий вздох).

Далее – об искусстве. Сюзи очень любит театр, но в Выборге нет ни одного, и она от этого просто страдает. Кино она тоже любит. (Очень понравился фильм «Как быть любимой», но публика вела себя ужасно, хотелось уйти!)

Берем еще бутылку вина. Пьем за брови Сюзи, за глаза, за ноздри, за рот, за зубы Сюзи – они у нее ровные и белые – где теперь найдешь такие зубы?

– Про волосы-то забыли? Они у меня не ахти какие, но всё же!

Пьем за волосы Сюзи, за уши и так далее.

– Хочу в Москву! – она с чувством. – Очень хочу в Москву! Алексеев должен вывести Сюзи в свет!

Обсуждаем, как это сделать.

– Вам надо учиться, Сюзи, – говорю я, – поступайте в вуз!

Сюзи явно не хочется учиться.

– Хочу быть натурщицей! – говорит она. – Сколько платят натурщицам?

– Голым – рубль в час.

– Мало! За пять я бы постояла. Но меня все равно не возьмут – слишком худая, все кости торчат. И грудь у меня великовата. Когда одета – ничего, даже красиво. А так она отвисает. Такую грудь рисовать неинтересно... Хочу иностранную сигарету!

– Ну какую, например?

– Кемел!

– Таких здесь не бывает.

– Все равно хочу!

В ресторане начинаются танцы. Среди танцующих женщина в зеленых брюках. Сюзи смотрит на нее и презрительно дергает губами – она бы никогда не пришла в ресторан в зеленых брюках! Она знает, как вести себя в обществе!

– Скажите, Сюзи, – спрашиваю я, – если бы я был свободен, вы бы вышли за меня замуж?
– Вышла бы!

Ресторан закрывается. Гардеробщик сам приносит ее пальто. Выходим на улицу. У входа в гостиницу стоят какие-то люди.

– Идите, – говорит мне Сюзи, – я вас догоню.

Иду вперед, останавливаюсь на углу, жду. Проходит минут десять. Возвращаюсь. Сюзи целуется с каким-то парнем. Подхожу к ним вплотную. Они меня не замечают.

– Вы что-то долго, Сюзи! – говорю я.

Сюзи оборачивается:

– Простите! Я только прощусь с ним!

– Извините, пожалуйста, – говорит парень, – но я ее очень давно знаю. Я хочу с ней проститься.

Подходят еще двое, один в штатском, другой – пехотный капитан. Оба пьяные. Хватают парня за руки, оттаскивают его от Сюзи. Капитан орет мне:

– Чего стоишь? Твою девку у тебя на глазах уводят, а ты стоишь! Где твое мужское самолюбие? Эх, дать бы тебе!

Он хватает меня за грудь. Я отталкиваю его и ухожу.

12.7

Приехал в Питер. Печатаю фотографии.

В тускло-красном свете на бумаге возникает лицо Сюзи. Надменное, хмурое, хитрое, улыбающееся. Снизу, в профиль, сверху, анфас.

Сюзи в платочке и Сюзи без платочка. Сюзи, смотрящая в сторону, и Сюзи, уставившаяся прямо на меня.

Снова Выборг. Снова дом у порта. Ее мать дома. Она приглашает зайти. Вхожу, осматриваюсь. Горки подушек на кровати, ковер с оленями, кружевные салфеточки на диване, искусственные цветы в дешевых стеклянных вазочках.

– Светлана уехала?

– Да, вчера вечером... Счастье искать отправилась. Плохо ей здесь было. Мать ее заставляла работать, а она не хотела. Красивой жизни хотела. Учиться тоже не желала. У нее ведь школа не кончена – за десятый класс она не сдала. Поступила в вечернюю школу, да ушла через полгода. Мальчики, танцульки – так и пошло. На Сетевязальной фабрике не ужилась, потому что плохо работала. В музее – тоже. Никого знать не хочет, все у нее плохие. На собрании с ней разговаривают, а она отворачивается. Мать она и за человека не считает. А что я ей плохого сделала? Не позволяла мужиков в дом водить?

– А как она думала дальше-то жить?

– Да как! Замуж выйти и иметь любовника! Любовника она уже завела, а вот мужа еще не успела! Найдет дурака какого-нибудь. Мало ли дураков-то!

– Вы ей говорили, что я приходил?

– Да. Но она не призналась. Не знаю, говорит, никакого Алексеева! Не знаю, и все!

– Да, странно.

– Вот именно! Врет она на каждом шагу. Изовралась вся. Всем врет!

Пауза.

– Мне пора, – вздыхаю я, – пойду уж. Всего вам хорошего!

В дверях она останавливается и снова жалуется на дочь. Но говорит она спокойным голосом. И будто ей даже приятно, что дочь у нее такая пропащая.

– В Волгоград поехала. Там, говорят, много высоких красивых мальчиков. Пусть едет!

Вечером с Л. пили вино в номере. Пьяные отправились гулять. Поднялись на крепостную башню, по наружной лестнице залезли на купол: внизу были светлые пятна воды и огни города, в воде отражалось оранжевое небо. Было совсем не страшно смотреть вниз.

Когда ложились спать, Л. сказал:

– Да, совсем забыл! В пятницу вечером тебе звонила какая-то девушка. Я ответил, что ты уехал и спросил, что передать. «Ничего, – сказала она, – теперь уже ничего не нужно передавать», и положила трубку.

13.7

Не могу ходить по городу.

Смешно. Вздорная, испорченная девчонка – а вот поди ж ты!

14.7

Тихий, пасмурный день. Теплый сонный дождичек.

И опять фотографии Сюзы. Я смотрю ей в лицо, но она меня не видит. Она никогда меня не видела. Она смотрела не на меня, а сквозь. За моей спиной ей мерещились сверкающая лаком машина, рестораны, море коньяку с шампанским и горы американских сигарет.

Впрочем, ей нравились мои письма. Это несомненно.

15.7

Последний аккорд. Разговор с Евгенией Васильевной – сотрудницей музея. О ней Сюзы говорила хорошее.

– Светлана поступила к нам год назад. Через месяц пришла с плачем какая-то женщина – ее сын несколько дней не ночевал дома, а перед этим его часто видели со Светланой. Потом Светланы несколько дней не было на работе – она делала аборт. Потом в музей пришел милиционер и потребовал, чтобы Светлана встала на учет как больная венерической болезнью (три месяца она ходила в диспансер). Потом пришла Светланина бабка и сказала, что за ней нужно присматривать – она часто не ночует дома и вообще плохо ведет себя. Потом пришли какие-то девушки и удивлялись: кого вы приняли! Она же суцья хулиганка – пьет водку, курит, ругается матом! Наконец устроили собрание. На него пригласили мать и бабку. Мать сказала, что за пачку сигарет и рюмку водки Светлана отдается каждому встречному. Светлана заявила, что у нее есть любовник, а замуж она не хочет, потому что это мещанство. Директор уволил ее и сказал, что если она не уедет сама, он добьется, чтобы ее выселили.

– Но в чем же дело? Почему она такая? Она ведь не глупа, читает книги... Я бы сказал, что она интеллигентна!

– Видите ли, она воспитывалась в дурной семье. Отца нет. Мать водила в дом мужчин, жила для себя и на дочь не обращала внимания. Светлана много знает и обо всем имеет свое мнение. Она умнее и образованнее своих подруг. Нельзя сказать, что ее испортила среда, она сама себя испортила. От какого-то отчаянья. Она озлоблена на всех, на весь мир – всё презирает. Ласкают ее только мужчины, вот она к ним и льнет. Она мне говорила: «Противно! Все парни твердят одно и то же – у тебя красивые глаза! У тебя красивая фигура! – надоело!» Я ей: «Светлана, тебе надо влюбиться по-настоящему!» А она: «Не могу! Мне никто не нравится!» Ее мать – плохая женщина. Как могла она при всех, на собрании, сказать такое о родной дочери! Может быть, и хорошо, что Светлана уехала.

Новый музейный стенд. Подписи под экспонатами те самые, которые печатала Сюзи. Время от времени она клала подбородок на каретку и, шевеля губами, читала написанный от руки текст. Иногда она вздыхала, как вздыхают дети после плача – в два придыхания. И подбородок ее трогательно вздрагивал.

16.7

Солнце садится. У окон гостиницы носятся стрижи. Снизу, из ресторана, доносится разухабистая и нестройная музыка. Включил радио – хоронят Мориса Тореза.

Надо написать письмо. Тщательно написать, чтобы она все поняла. Может быть, еще можно что-нибудь сделать. Пропадет девка.

22.7

На Невском в нарядной, оживленной толпе среди хорошеньких голоногих девушек бредет маленькая, изогнутая в три погибели старушонка. Толпа обтекает ее, как река обтекает остров.

Надо настроить себя на большую поэму. На главную, пора уже.

23.7

Вдвоем с отцом достраиваем дом – обшиваем каркас вагонкой. Когда забиваешь гвоздь в бревно, оно поет, звенит, как камертон. Сначала звук низкий, потом все выше и выше.

Доски чистые, желтые. На солнце они сверкают, как латунь.

24.7

Во сне я целовал руки какой-то незнакомке в меховом пальто «под леопарда». Потом появилась Майка – и я вдруг почувствовал, что она мне дороже и нужнее всех женщин.

Интеллигентские нежности. После часа физической работы на ладонях вздуваются пузыри. После трех часов пузыри лопаются, и обнажается красное, свежее мясо.

30.7

В молодости Пабло Неруда писал хорошие стихи. В зрелые годы им овладела гигантомания. Его поэмы невероятно многословны, тяжеловесны и скучны. Все та же «установка на великую литературу».

Вторая мировая война и искусство. Неужели и впрямь, для того чтобы создавать духовные ценности, человечество время от времени должно низвергаться в такие мрачные пропасти?

Из разговора Гали Н. по телефону: «Организму не свойственно, когда его режут».

1.8

Бёлль. «Глазами клоуна». Утомляют рассуждения о католицизме. Ганс Шнир искусственен, хотя и искусно сделан.

Афоризм: «Если наш век заслуживает какого-либо названия, то его надо назвать веком проституции».

Написал семь стихотворений о Сюзи.

2.8

Поезд Ленинград – Феодосия.

Проводники – молодые, нагло-вежливые парни. Вечером они отдыхают от культуры: из их купе доносится спокойный витиеватый мат.

Или это я где-то вычитал, или сам придумал: человечество делится на тех, которые смотрят в окно, когда едут в поезде, и тех, которые не смотрят; последних большинство.

Россия и Азия. Татарщина. Национальная замкнутость. Петр и прорыв на запад. Сталин вернул нас востоку. Так мы и болтаемся все время между Европой и Азией.

Хорошо стоять у открытого окна, когда поезд под дождем идет через лес.

3.8

Рано утром – Вязьма. Гудки маневренных тепловозов, голос диспетчера из громкоговорителя.

Пошли смешанные леса. Двухскатные кровли сменились четырехскатными. После Брянска совсем украинский пейзаж. Чем дальше к югу, тем больше гусей и уток, хотя воды все меньше. Птица кишит в каждой луже.

Блаженство – лежать на верхней полке и смотреть через открытую дверь в окно коридора. Засыпать, просыпаться, снова засыпать и снова просыпаться. И видеть все тот же узор полей, скирды, заросшие кустарником, овраги и белые сёла вдалеке.

4.8

Крым. Степь. Поля до горизонта. На горизонте синеют горы. Подъезжаем к Севастополю. Меловые срезы гор. Пещеры. Туннели. Наконец вокзал. По длинной лестнице поднимаемся в город. Главная улица – «сталинский ампир». Руины собора. В соборе похоронены великие адмиралы. В бухте вода мутная, желтовато-зеленая. Военные корабли. Вечером – Херсонес. Развалины византийского храма. Волны бьются в его основание. Рядом на мысу – большой колокол на двух массивных столбах. Майка сидит на обломке мраморной капители и что-то поет – мне не слышно что: море шумит. Море занято своим делом и не обращает на нас внимания. Оно прекрасно.

У древней крепостной стены ждем автобус. Подошли две собаки, посмотрели на нас и ушли. Три женщины – совсем девочка лет шестнадцати, постарше – лет двадцати и пожилая – лет пятидесяти. Молодые дурачатся, поют, хохочут. Пожилая любит ими. Темнеет. Море шумит.

Почему так волнует все античное здесь, в Крыму? Прародина нашей культуры. Всё европейское у нас от Греции. Через Византию. А то жили бы мы с медведями в лесах и питались бы клюквой. Князь Владимир взял Корсунь. Ходили и к Царьграду. Но Кирилл и Мефодий были греческие монахи.

5.8

В Севастополе нет спасения от туристов. У каждого памятника фотографируются. Задние стоят, передние сидят на корточках. У всех напряженные, каменные лица. Сфотографировались – и бегом дальше.

Одна из туристок сказала, поглядев на мою бороду: «Людоед какой-то!»

Черный жучок с оторванной лапкой пытается переползти широкую асфальтированную аллею. Ползти ему трудно, его заносит вбок. Он обречен – его растопчут. Но ползет, надеется.

Дорога на Ялту. Въезжаем в горы. Через каждый километр столб с табличкой: «Охота только по особому разрешению». Кому дают это разрешение?

Байдарские ворота. Синяя стена моря. Вверху она сливается с небом. Ощущение полета. Внизу, в невероятной глубине, полоса берега с белыми домиками. Белая церковь на скале.

К Симеизу шоссе идет на большой высоте. Над ним нависают голые зловещие скалы. Море внизу, и его очень много. По нему ползут катера.

6.8

Утром один гулял по Симеизу.

Запахи. Деревья и камни. Камни и море. Деревья, дома и горы. Дорога и деревья. Сотни комбинаций.

Кромка прибоя, сверкающая на солнце. Далекий белый пароход. Местами кипарисы стоят сплошной стеной. Зеленая вода у «Дивы». Лестницы, ведущие куда-то вниз и куда-то вверх. Подпорные стены из серого камня.

Первое купание. Сложный комплекс знакомых ощущений. Томительное наслаждение. Сравнить не с чем.

Кто-то убил морского кота. Сбежался весь пляж. Стоят, ахают. Кот весь в колючках – этакое страшилище. В глубине моря, кроме рыб, никто не видел его безобразия, а теперь его вытащили на посмешище – дергают за хвост, щупают колючки.

Разговор хозяек.

– Сказали – на две недели, а уехали через день!

– А у меня еще хуже! Каждый день стирали, гладили моим утюгом, шили на моей машинке и ночью сидели до трех – электричество жгли. Еле дождалась, когда уехали!

Ночь. Млечный путь погружается в море. На севере мы забываем, что есть звезды.

7.8

В морской воде тело кажется совершенно белым, полупрозрачным. Интересно плавать с маской и наблюдать за ныряльщиками. Когда они погружаются, их не видно – белый столб из пузырей. Движения у плавающих тоже забавны, особенно у женщин.

Запах гальки на берегу.

Воробьи в столовой прыгают по тарелкам, склевывают остатки пищи, дерутся, кричат. Воробья кормит великовозрастного птенца. Он с нее ростом, но потолще. Нахально разевает клюв. К столам не летит – сидит на перилах ограды и ждет. Маменькин сынок.

Строгие вертикали кипарисов придают пейзажу некий геометризм.

9.8

Купание с маской среди камней. Подводные ущелья и гроты. Водоросли разных оттенков – от синего до красного. Стаи мелких рыбешек. На дне рыбы покрупнее – завидя пловца, они стараются скрыться.

Хорошенькая и кокетливая девушка на пляже. Кокетливо ходит, кокетливо сидит, кокетливо разговаривает и кокетливо молчит. Кокетство ей идет.

Вечерний пляж. Пусто. У самой воды на стуле сидит старик с седой бородой. Он читает газету.

Шум прибоя.

Пароход, идущий к Севастополю, освещен вечерним солнцем. Но у нас уже сумерки – горы заслоняют солнце.

10.8

У кипарисов много общего с морем – та же вневременность, то же величие. Кипарисы напоминают о вечности, недаром их сажают на кладбищах. Кипарисы молчаливы, они не шумят и не шелестят под ветром. Они обтекаемы. Их форма законченна и монументальна, как у египетских обелисков.

Хорошо, когда кипарисы стоят ровной плотной стеной. Хорошо, когда на вершине голого рыжего холма стоит один острый черный кипарис. Великолепны старые кипарисы с толстыми, разветвленными и побелевшими от времени стволами.

На берегу Понта читаю Светония. Пути к власти и способы ее удержания – теоретическое пособие для начинающих диктаторов. Трогательные подробности: «Бескорыстия он не обнаружил ни на военных, ни на гражданских должностях... Впоследствии народ воздвиг на

форуме колонну из цельного нумидийского мрамора, около двадцати футов вышины с надписью «Отцу отечества».

Волны Понта бьются о скалы с поразительным упорством. Двадцать веков – как один день. Может быть, ничего и не было вовсе? Было только море.

Проплыл вокруг «Дивы». Был момент, когда скала закрыла берег – пляж и людей. Остались море и отвесная каменная стена. Стало страшно. Настоящее одиночество – вещь неприятная.

Природа иногда показывает нам волчьи зубы, хотя мы уже привыкли считать ее ручной.

Крымские татары основали свою столицу вдалеке от моря. Море пугало их. К тому же они не были мореплавателями. Что чувствовал Колумб спустя месяц после отплытия? Потерпевших кораблекрушение часто находят безумными. Лем в «Солярисе» неспроста сделал море живым существом, непостижимым и бесконечно чуждым человеку.

11.8

Цвет моря при свежем ветре. У берега – охра, далее – светлый изумруд, потом чистый кобальт и на горизонте – ультрамарин.

Очередь в столовой. В основном – московская и ленинградская интеллигенция. С Украины народ попроще – им тут близко и недорого. Раздражает мягкое «г». Интонации украинской речи довольно однообразны. Растягивание гласных кажется манерным. Женственный язык. Все украинки ужасно тараторят. У всех украинцев толстые черные брови, хотя волосы бывают и светлыми.

Несмотря на постоянное присутствие модно одетой столичной публики, местные жители одеваются так же, как в любой украинской или русской деревне. Кастовость? Или сила инерции?

12.8

Ночью несколько раз просыпался и слушал, как шумит море. С веранды был виден пароход. Как яркий большой светляк, он полз по черной стене в сторону Ялты.

Черный лебедь в алушкинском парке. Перья его похожи на лепестки георгина. Небрежно, с чувством собственного величия, он подбирает кусочки печенья.

13.8

Группа поэтов, вылезших на свет божий в середине и конце 30-х годов, – как хилый осинничек на месте вырубленной корабельной рощи. Сейчас они ходят в мэтрах. Поучают, усмеваются, пишут мемуары.

Поэзия – здание, которое вечно строится. Каждый последующий кладет свой кирпич на кирпич предыдущего. Но для этого надо обладать соответствующим ростом. Те, которым не дотянуться, кладут свои кирпичики рядом, искусственно утолщая стену. Это ненужный расход материалов. В наш век толстые стены – вообще анахронизм.

14.8

Сон.

Пришли к могиле Тони. Могила совсем неглубокая, тело едва присыпано землей, и земля колышется. «Смотрите! – говорю. – Тоня живая! Ее живую похоронили!»

Тут Тоня встает и отряхивается от земли. Она девочка лет двенадцати, но меня это не смущает. Я беру ее за руку, веду и говорю всем встречным: «Это Тоня! Правда, удивительно? Она очень помолодела там, на кладбище!»

И все удивляются.

Потом я ловил рыбу в Америке, в узкой неглубокой речке с красной водой. Ловил на донку и поймал крупного подлещика. В Америку я попал как-то случайно, и меня все время беспокоило, что я незаконно ловлю рыбу в Америке.

Проснулся и долго приходил в себя. Некоторое время сон был сильнее яви – он стоял перед глазами. Потом краски пожухли, детали смазались.

Хорошо бы изобрести фиксаж для снов, чтобы они не забывались. Впрочем, врачи говорят, что помнить сны вредно – перегрузка для мозга.

Много прекраснейших, редких снов пропало у меня безвозвратно.

Авангардистская поэзия Западной Германии. Слово-фетиш. Графика стиха (смешение искусств).

Все это, быть может, нужно пройти по дороге куда-то. Но куда?

Тезис: «Современный поэт идет не от мысли к форме, а от формы к мысли и чувству».

Не всегда, но верно.

15.8

Луна. Лунный след на море. Красные огни рыболовного катера.

Искал на небе Полярную звезду. Нашел и обрадовался.

16.8

Майка сказала мне: «Хемингуэй работал каждый день и чувствовал себя беспокойно, если день был бесплодным, а ты обленился».

С восемнадцати до тридцати лет я был совсем как Хемингуэй. А теперь ясно, что это необязательно, Высшее удовольствие – работать для себя: пиши, что хочешь, как хочешь и сколько хочешь. Не хочешь – не пиши.

Майка верит, что меня будут когда-нибудь печатать.

И все же – будем работать. Потому что надо. НАДО!

17.8

Прощание с подводным царством. Осторожная и игривая креветка. Мудрые крабы в расщелинах. Большой невозмутимый морской ерш. Какая-то красная рыбка с полосатыми плавниками.

Забавы с прибоем. В воде все превращаются в младенцев. Визг и хохот. Мальчонка лет четырех с надувным поясом. Прибой играет им, как мячиком. Мальчонка не боится – смеется.

Последняя очередь в столовой, – сегодня она на редкость длинная. Охотимся за подносами, потом – за чистыми стаканами. Здесь нужны ловкость и нахальство. Слунтяи обречены на голодную смерть.

К нам повадился ходить хозяйский котенок. Он совсем тощий (все кошки в Крыму тощие – их не принято кормить). Купили колбасы и накормили его до отвала. Бедняга потрясен такой щедростью и просто изнемогает от благодарности.

Вдруг выяснилось, что он не хозяйский, а так – ничей, приبلудный. Жалко его. Уедем, и он снова будет голодать.

18.8

Проснулся рано. Лежал и думал о Блоке. Эталон поэта, данный однажды, чтобы знали, с чем сравнивать.

В самолете – как у зубного врача. То же кресло. Та же беспомощность и ожидание чего-то неприятного. Стюардессы в роли дантисток: Пристегните ремни! Не курите! Не вставляйте!

Соседи играют в карты. Есть такая порода людей, которые во всех видах транспорта обязательно играют в карты. Или в домино. Даже в автобусе, когда ехали в Симферополь, – играли.

Играли, не обращая никакого внимания на красоты природы и на тряску. Эти милые люди приехали в Крым откуда-нибудь из Свердловска, из Хабаровска или Магадана, чтобы перекинуться в картишки.

– Внимание! Мы летим на высоте 9000 метров! Скорость – 850 километров в час! Температура воздуха за бортом – минус 25 градусов! Пролетаем Харьков!

В окне видны облака, освещенные луной. Мы значительно выше.

Внуково. Ослепительно белые тела самолетов, вырванные из мрака прожекторами.

Лефортово. Высоченный, совсем взрослый Марк в длинном халате. Рассказывает новости: Айхенвальд пишет сейчас прекрасные стихи, Самойлов – тоже, а Коржавин пишет ерунду – исписался.

19.8

Проснулся и не сразу понял, где нахожусь. Подошел к окну: туманное, но солнечное утро, дворники подметают тротуары. Москва.

Огляделся. На стенах комнаты несколько портретов Е. М. в добротной ученической манере. Рука академика живописи Соколова.

Едем в центр. Вот Пушкин. Стоит, понурясь. Преклоняюсь, но без любви. Он чувствует мою холодность и не лезет мне в душу.

Вечер. Сидим на скамеечке у входа во Дворец пионеров. Вдали силуэт университета. Нечто фантастическое, древнеиндийское, невероятно-огромное и нечеловеческое.

Прослушав мои последние стихи, В. сказал: Не шаг, а прыжок вперед.

Браво, Алексеев!

20.8

Читал у Левушки М. Как всегда, он не мог найти слов. Остальные – тоже (плюс действие алкоголя).

22.8

Троице-Сергиевская лавра. Перед собором старушки в черных и белых платочках – все с бидончиками для святой воды.

В углу у трапезной – проходная. В будке за стеклом инок в скуфейке. Перед ним телефон. Видимо – патриаршие покои.

Идет священник. К нему подбегают женщины, о чем-то просят. Священник улыбается, разводит руками и идет дальше. Женщины семят за ним.

Обрывок разговора: Потом гляжу – выносят чашу, иностранцев выводят на середину и причащают...

Музей лавры. Покровы, пелены, плащаницы, потиры, братины, диски, митры, оклады икон. Сапфиры, топазы, аметисты, жемчуг, бирюза, червонное золото. На окнах толстые решетки. «Седелки» зорко поглядывают на посетителей.

Дорога на Переяславль. Вечерний туман в низинах. Пьяные деревни (все избы покосились).

Переяславская гостиница. Роскошный номер с одной полутораспальной кроватью, со шкафом и с графином воды на столе.

– Забронированный! – с гордостью сказала администраторша, открывая дверь.

Вечерняя прогулка по городу. Грязь, лужи, матерная ругань. Кажется – все мужское население переписалось, хотя и не праздник. Впрочем – суббота. В городском саду играет оркестр.

23.8

Данилов монастырь. Трапезная в порядке – покрыта тесом, побелена. Остальное – почти руины. На стене надпись: НЕ ПОДХОДИТЬ! РАЗРУШАЕТСЯ! В руинах ютится автобаза. Под горкой у пруда – свалка. Валяются надгробия из полированного гранита. Тучи галок вьются над главами.

Горицкий монастырь. Узорчатый кирпич изумительной надвратной церкви. Остатки монастырского сада. Музей. В музее святые мощи из Данилова монастыря. Тут же акт о вскрытии раки в 1919 году. Акт свидетельствует, что мощи отнюдь не святые.

Личные вещи Шаляпина из его усадьбы, реквизированной в 1918 году. На фотографии Шаляпин в лаптях и в косоворотке.

Сидим на холме перед монастырем. Внизу озеро. На прибрежном лугу стадо коров. Издалека доносится прелюд Рахманинова (радио). Безветренно. Пасмурно. Безлюдно. Вдали за озером идет дождь.

Никитский монастырь. Тоже руины. Но строят леса – будут восстанавливать. Рядом с монастырем гигантский макет Москвы – дома в рост человека. Здесь снимают «Войну и мир».

24.8

Ростов Великий. Встали с петухами, пошли к кремлю. Кресты и подзоры ослепительно сверкали. Сквозь массивную решетку ворот было солнце. Обошли вокруг, вошли внутрь, вышли и еще раз обошли вокруг – вздыхали и ахали.

В столовой нарасхват белые булочки. Крестьянки с бидонами и мешками (приехали на рынок) брали по 10–12 штук.

Яковлевский монастырь. Классицизм, петровское барокко. Внутрь не попасть – колючая проволока, солдат с автоматом. Ржавые ребра ободранных глав. На карнизах растут кусты.

Борисоглебский монастырь. Ходим по стенам. В амбразурах лесные дали, поля. Изразцы на фасадах церквей: фантастические звери, всадники, диковинные цветы.

В чайной на полу, загораживая вход, лежит пьяный человек. Его перешагивают. Перешагнули и мы. Когда, пообедав, вышли, пьяный валялся уже на улице – никто не обращал на него внимания.

У южных ворот монастыря – «городской сад». В центре его – гипсовый Ленин, покрашенный серебряной краской. Другой Ленин, чуть поменьше, но тоже серебряный – в садике у автобусной станции. Наконец, третий, опять-таки серебряный, но бюст – в центре самого монастыря.

25.8

Дорога на Ярославль. Автобус набит до отказа. Напрягаю мускулы рук и ног, чтобы удержаться в стоячем положении. Из-за убогих избенок выныривают вдруг фантастические, нездешние башни нефтеперегонного завода.

Умные марсиане захватили страну ленивых, темных людей. То ли марсиане не подпускают туземцев к своей технике, то ли техника и вся марсианская цивилизация туземцев вовсе не интересуют, но они живут себе по старинке в жалких деревянных избушках рядом с этими чудесами из алюминия и нержавеющей стали.

Ярославская художественная галерея. Надпись под картиной: «Неизвестный художник. Портрет неизвестного». Изумительная Корсунская богоматерь: огромный, тщательно выписанный лик с глазами, в которые страшно смотреть, и маленькая, прильнувшая к щеке матери, головка Иисуса.

Волга. Соответствующие эмоции соответствующей длительности и интенсивности. Хотя и не в первый раз ее вижу.

– Волга! Да-а-а, Волга! Неужто Волга?

Церковь Ильи Пророка. Фрески. Иконостас. Все вместе изумляет, подавляет, бросает в дрожь и успокаивает. Низ в полумраке, свет падает на столбы и на верхнюю часть стен. Своды тоже в тени. Зато роспись в куполах и на барабанах сияет как бы внутренним светом, отрываясь и улетающая в поднебесье. И оттуда, с небес, грозно глядит Христос.

Церковь в Толчкове. Лес глав с луковицами. Колокольня-девушка (очень уж стройна и мила). Старушка-сторожиха: «Купола-то все золотые были, я помню. А теперь вот только пять. На остальные золота не хватило. Пропили небось. Да и то слава богу – церковь как новая!»

Пешком идем в Коровники. По немощным пыльным улочкам бродят утки, куры, собаки и кошки. Иоанна Златоуста реставрируют, но не очень ретиво – деревянные леса уже совсем потемнели. Фотографирую. Подходит пьяный парень и спрашивает, почему церковные росписи, когда их замазывают, снова проступают сквозь известку. Рассказываю ему о фреске. Парень слушает, кивает головой. Произносит разнообразные междометия.

Обычная вечерняя неприкаянность в провинциальном городе. Остается только кино.

Путешествия по России утомительны. Много однообразно-неприятного: вечно переполненный транспорт, недостаток гостиниц, дурные дороги, неучтивость жителей.

Приблизительно так писали иностранцы, посещавшие страну в XVIII веке.

Для меня путешествия обременительны необходимостью почти все время быть на людях.

26.8

Садимся на старый смешной пароходик и плывем к Толгскому монастырю. Он стоит на берегу и издали белеет стенами. Пароходик плывет медленно, и медленно растут эти стены с башнями и главы церквей над ними.

Сей памятник под охраной не состоит и существует сам по себе. Однако он выжил и даже неплохо сохранился. Его приспособили под жилье. Живут даже в крепостных башнях, расширив амбразуры и превратив их в окна. К монастырю примыкает колония для малолетних преступников, и все монастырские жители работают в этой колонии.

Монастырский собор велик и строен, со многими галереями и пристройками. Стекол в окнах нет. Снаружи видны остатки росписей XVII века. Стены собора в толстых трещинах.

Из ворот монастыря видна Волга и высокий правый берег с березовой рощей. Другие ворота выводят в поле: пыльный проселок, несколько старых ив у обочины и синий лес вдалеке.

День неяркий. Солнце за неплотными облаками. Волга гладкая, светлая. Кое-где мерцает рябь. На горизонте растворяется в дымке прозрачный железнодорожный мост.

Вспомнил ежа. Собственно, это был еще не взрослый еж, а ежонок. Вечером, накануне отъезда из Симеиза, сидели на скамеечке в парке. Ежонок, не торопясь, прошел мимо нас по аллее. Я взял его в руки, поднес к фонарю и разглядел. На вид он был обыкновенным, но появление его показалось мне странным. Конечно, это был не ежонок, он только притворялся ежонком.

29.8

Ночная Москва.

Около Энергетического института стоит автобус – студенты собрались за грибами. Корзинки всех сортов и размеров. На углу – скусающий негр. Руки засунуты в карманы. Ему хочется развлечься, но лень ехать в центр. Да и поздно.

Пустой эскалатор метро. Внизу на платформе две парочки в обнимку, третья спряталась в нише. Поезда долго нет – ночью поезда неторопливы.

Опять пустой эскалатор. Опять парочки в тех же позах.

Совершенно пустой ярко освещенный подземный переход. Странно – столько света для меня одного!

На улице Горького все прохожие – иностранцы. Москвичи уже спят.

Несколько машин у перекрестка ждут зеленый свет. Но никто не пересекает им дорогу. Светофор работает автоматически.

Двое пьяных, согнувшись, пристально разглядывают витрину винного магазина.

Фонари горят вполсвета. Ярко светятся изнутри автоматы газированной воды, образуя два редких пунктира по обеим сторонам улицы.

Свернул за угол. Еще парочка. Он целует ей шею. Она откинулась назад, глаза закрыты. Пахнуло сладкими пряными духами.

30.8

С. сказал: Алексееву не хватает только одного – красивой трагической биографии.

Разговор с А. О «ленинградской» и «московской» школах в нынешней поэзии (типичными представителями первой А. считает Бродского, Горбовского и меня, второй – Коржавина, Самойлова и себя), о вреде поклонения факту и правомерности мифотворчества, о том, что надо идти от мироощущения к предметному его выражению, а не наоборот. Читал ему свое последнее. Он слушал напряженно и был взволнован.

Неловко, когда тебя хвалят в глаза.

Устал от Москвы. Хорошо, что живу в Питере. В столице я бы измызгался, затаскался. Первопрестольная полезна мне в малых дозах.

6.9

Снова дача. Срубили сосну, что росла у самого крыльца. Срез пня сразу покрылся смолой. Будто кровь выступила. Загубили живую душу.

Филимоныч растолстел и зазнался. Ужасно стал важный.

8.9

Времена меняются. Когда-то на табличках в скверах писали: «Ходить по газонам строго воспрещается!» или «По газонам не ходить! За нарушение – штраф!» А теперь пишут: «Просим по газонам не ходить».

С величайшим наслаждением перечитал «Родину электрификации». У Платонова детская свежесть языка, как чудо. А слова все старые.

9.9

Касса в гастрономе. Кассирша сидит высоко, и лица ее в окошечке не видно. Видна хорошая высокая грудь в шерстяной, плотно облегающей кофточке. Грудь подрагивает, шевелится. Грудь говорит приятным низким голосом: Ваших три рубля! Не найдется ли у вас копеечка? Платите, следующий!

10.9

Гейне мне близок. Ирония и сюжетность, парадоксы, вульгаризмы, трагическое в комическом и комическое в трагическом.

Днем не могу сидеть дома. Все кажется – там, на улицах, на набережных происходит нечто ужасно важное, что нельзя пропустить.

Волки всегда пожирали агнцев. Волки пожирают агнцев. Волки будут пожирать агнцев. Но всех никогда не съедят. А если съедят – сами передохнут с голоду.

Эти рассуждения не помогают. Я не могу глядеть на волка, перегрызающего горло агнцу. Мне хочется убить волка.

Стараюсь писать для себя. Но все выходит будто напоказ. Сегодня содержательный день. Думаю, вспоминаю, сопоставляю, оцениваю. Сегодня я высоко.

Пора искать новые тропы. Вечная борьба с инерцией.

11.9

Все больше и больше я становлюсь похожим на мечтателя из «Белых ночей». Пассивность моя неизлечима.

Созерцаю закаты, облака – безоблачные закаты и закатные облака, – созерцаю отражение рекламы в мокром асфальте и красивых женщин в автобусах. Я выбрал роль созерцателя. Так легче. Но не так уж и легко. Все эти мучения с совестью осточертели.

Будет еще тысяча прекрасных закатов с облаками и без них. Будет еще десять, двадцать, тридцать апрелей и не меньшее количество ноябрей. Но количество не перейдет в качество. Из состояния равномерного движения меня могут вывести только какие-то особые выдумки фортуны, а она у меня не отличается изобретательностью.

16.9

Гитлеровские сборища всегда были великолепно организованы. Это впечатляло. Это доводило рядового немца до сладких возвышенных слез, до верноподданнического иступления.

Пишу дневник, ловлю время решетом. Будто потом можно будет, перелистав тетрадки, снова прожить эти годы.

Только сейчас я начинаю понимать, что такое – искусство, как оно делается.

Этикетка тройного одеколона осталась такой же, какой она была в 80-х годах, быть может, даже до революции. Глядя на эти завитушки в стиле «модерн», я вспоминаю детство, вспоминаю старые петербургские квартиры, полутемные комнаты с высокими потолками, с громоздкими шкафами и буфетами, с каминами и картинами Клевера в тяжелых золоченых рамах. Меня тянет назад, в тот совсем другой город середины тридцатых годов, не потерявший еще запаха начала века. Я выхожу на улицу, сажусь в автобус и еду куда-нибудь на Петроградскую сторону, на Каменноостровский проспект. Захожу в старые парадные, поднимаюсь по лестницам и любуюсь остатками витражей в стиле «модерн».

21.9

Всякие попытки заменить «гуманизм вообще» гуманизмом для кого-то ведут к преступлениям и к оправданию их. Всякая теория, всякая идеология, основывающаяся на отказе от общечеловеческих представлений о человечности, так или иначе оправдывает насилие и служит ему.

23.9

Туманный день. Дворцовая набережная.

Вдруг – оглушительный выстрел. Оттуда, из тумана. И сразу – громкий бой часов. Потом – гимн. Колокола играют его медленно, неуверенно, будто припоминая мелодию. Призрачный гимн из тумана.

Вдали – гудящий мост. Силуэт его виден, но машины, идущие по нему, незаметны. Будто гудит сам мост.

Первые костры осени. Липы только еще загораются, но клены уже неделю полыхают оранжевым пламенем.

Можно писать стихи только осенью и только про осень, и сказать все. Потому что осень – это не только то, что есть, но и то, что было и что будет. У осени есть опыт весны и лета. И она понимает, что такое зима. Пушкин не зря любил осень. А осень знала, с кем имеет дело, и была с ним откровенна.

День неестественно тихий. Михайловский сад будто опущен в банку со спиртом – ни один листик не шевелится.

У Зимнего дворца идет высокая стройная женщина с красивым гордым профилем и роскошными рыжими волосами. На тротуаре играют мальчишки, им лет по десяти. Один из них подбегает к женщине и громко спрашивает: «А вы не Екатерина Вторая?» Его приятели хохочут. Женщина делает вид, что ничего не слышала. Всё вместе – великолепно. (Непридуманное стихотворение.)

Внимательно и с удовольствием перечитал «Неумолчную поэзию» Элюара.

Вода в канале неподвижна. Она гнилая. Кажется, что она уже настолько засорена всякой мерзостью, что потеряла способность двигаться.

Вдруг из-под моста выныривает милицейский катер. Он разрезает эту тухлую воду, вспенивает ее и бросает на каменные стены набережной. Волны бьются о гранит с глухим злобным стуком. Волны подбрасывают вверх мусор, будто канал, пробудившись, хочет очиститься, будто он вспомнил о своем достоинстве, о том, что он сродни океану. Но это ненадолго. Вода успокаивается. Ее поверхность снова покрывают белесые разводы плесени со сгустками нечистот. Зловоние усиливается.

В конце своей автобиографии я мог бы написать: жизнь всегда была для меня процессом болезненным, потому что я относился к ней слишком серьезно, гораздо серьезнее, чем она заслуживает.

26.9

Юрий Домбровский. «Хранитель древностей». Хорошая сюрреалистическая литература. Пожалуй, лучшее из написанного о 37-м годе. Кафка превращал действительность в сон, а Домбровскому ничего не надо превращать. Действительность 37-го года страшнее любого сна. Алогичность самой реальности выглядит здесь как художественный прием.

Конец повести – тяжкий кошмар, когда хочешь проснуться и не можешь, когда кричишь – и не слышишь своего крика. Ощущение полнейшей незащитности перед огромной темной силой, надвигающейся неотвратимо.

Все люди-то спят,

Все звери-то спят...

Отдай, старуха, мою лапу.

5.10

Лермонтовский юбилей.

Как умудрился этот чернявый юнкер с усиками стать великим поэтом?

Испытываю панический страх перед всякими канцеляриями, перед секретаршами директоров с их бесчисленными телефонами, перед бухгалтериями и главными бухгалтерами, перед всеми людьми, которые удостоены права подписывать бумажки и с которыми должно быть предельно вежливым, чтобы не отказались подписать.

Мои темы, как планеты вокруг солнца, вращаются вокруг «бренности бытия». Я прилип к экзистенциализму, как банный лист к заднице.

В автобус вошла девушка в туфлях на «шпильках». На один каблук накололся желтый кленовый лист. Девушка не замечает, и хорошо. Придет домой – рассмеется.

Сад отдыха. В павильоне Росси стоит гроб, заваленный цветами. Ходят люди с красными повязками на руках. У входа толпится человек двадцать. Тихо разговаривают об усопшем. Я не знаю, кто он.

Падают листья. Рядом шумит Невский.

7.10

В столовой, что на углу Садовой и Вознесенского проспекта, работала пятнадцати-четырнадцатилетняя девочка, тощенькая, с длинными ногами и жиденькими косицами. Она убирала со столов посуду.

Теперь она уже сидит за кассой. Подрисованные глаза, заграничная кофта, уверенный голос, уверенные движения чистых белых рук.

Девочка сделала карьеру.

9.10

Женя М., я и Женин сосед Вася Ходорка.

Вася выпивши. Через каждые пять минут он просит извинения и прочувствованно жмет нам с Женей руки. Через каждые десять минут в комнату входит его жена с немецким догом. Она просит Васю не срамиться, уйти и не мешать. Вася нарочито громко орет на жену и выставляет ее вместе с догом за дверь.

Вася показывает мне свою трудовую книжку – ее он всегда носит с собой, чтобы жена не знала, какая у него зарплата. Потом он уходит, но скоро возвращается и предлагает нам с Женей «раздавить полбанки». Мы отказываемся. Он еще раз предлагает, мы еще раз отказываемся.

– О, Гена! Прости меня! – говорит Вася с театральным пафосом, – Прости меня, Гена! Мне обидно! У тебя будет такое впечатление, что Ходорка пьяница. А Ходорка не пьяница! Ходорка – хороший парень! Женя, скажи ему, правда ведь, я – хороший парень? Прости меня, о, Гена! Гуд бай, Джонни! Гуд бай! Эксклюзив ми!

Вася знает несколько английских слов – его научил Женя.

Вася – литейщик. Окончил 6 классов. В юности был карманным вором. Несколько раз сидел. Теперь честно зарабатывает свой хлеб.

Когда мы с Женей вышли в прихожую, Вася стоял в дверях своей комнаты. Он смотрел куда-то вдаль, и на его лице не было никакого выражения. Шагнув ко мне, он покачнулся и упал навзничь. Вышла Васина жена и сказала: «Не подымайте, пусть полежит!»

Уходя, я обернулся: Вася лежал неподвижно, над ним сидел немецкий дог.

15.10

У отца второй инфаркт. Его опять положили в больницу.

16.10

Хрущев отстранен. «В связи с преклонным возрастом и ухудшением здоровья».

Что день грядущий нам готовит?

Китайцы взорвали первую атомную бомбу.

18.10

Иногда, когда со стен старых домов отваливаются куски старой штукатурки, на свет божий вдруг вылезают надписи с того света: «Гофман. Торговля аптечными товарами», «Бакалейный магазин братьев Носовых» и тому подобное. Тогда становится очевидным, что история – не миф и этот город действительно назывался когда-то Петербургом.

19.10

Начало путешествия.

Старый седой шофер говорит о Хрущеве:

– Сколько денег спустил! Мы работали, а он по заграницам разъезжал. Каждый день приемы – завтраки, обеды, ужины. По телевизору показывали – чего только на столе нет! Ну ужинали бы себе там потихоньку, а то ведь еще нарочно показывают! Зачем? Попробовал бы

он пожить на сто двадцать рублей! Кабы я был председателем совета министров, я бы себе больше двухсот в месяц не платил, ей-богу!

– А на выпивку?

– Я бы подхалтуривал помаленьку!

Смеемся.

Остановились у железнодорожного переезда – закрыт шлагбаум.

– Как это раньше строили? – сказал Женька. – Вот, например, эту насыпь? Тачками ведь землю возили! Сколько же надо было возить?

– Не тачками, а на телегах, – сказал шофер. – Знаешь, сколько лошадей было в городе? Тыщи! И какие! У Сорокина битюги мясо возили. Все в сбруе с кистями до земли. Не битюги – слоны! Раньше любую тяжесть лошади брали. Иные тянули тонн до пяти. А одна не утянет, так несколько запрягали. Видел я однажды – везли колокол для колокольни Иоанна Предтечи, что на Обводном. Десять пар цугом. И один возчик. По всему городу. Красота! А теперь лошадей почти нет – какие уж тут лошади!

Сидим в Ту. Посадка окончена, ждем взлета. Неподалеку сидит пожилая, бедно одетая женщина с потертой сумкой из искусственной кожи. Она робко озирается по сторонам, потом говорит, ни к кому не обращаясь: «Я в Душанбе. Далеко. Первый раз на самолете-то, – смущенно улыбаясь. – Из деревни я. К невестке еду. В Душанбе».

Все наперебой объясняют ей, что будет дальше: как самолет будет разворачиваться, как он будет взлетать и что может случиться в дороге (о пакетике из плотной бумаги). Она внимательно слушает, кивает головой, вздыхает.

Наконец взлетаем. Женщина сидит неподвижно и напряженно смотрит в одну точку. Ей предлагают взглянуть в окно.

– Ой, боюсь я! – отказывается она. – Не буду глядеть! Страшно!

Набираем высоту, врезаемся в облака, пронизываем их и забираемся выше. Облака сверху – как холмистая белая пустыня. Кое-где над ней возвышаются округлые белые башни. Перед иллюминатором – крыло. Оно совершенно неподвижно, на нем ничто не дрожит. Трудно представить, что мы несемся со скоростью 900 километров в час. Лишь иногда конец крыла чуть-чуть покачивается.

Пожилая женщина уже смотрит в окно. В ее тусклых глазах нет ни страха, ни удивления. Ей не любопытно. Она сосет конфету и бережно прижимает к груди свою сумку.

20.10

Раннее утро. Ташкентский аэропорт. Горьковатый запах пыли и сожженной солнцем травы. Узбеки в чалмах и тюбетейках, киргизы в лисьих шапках. Пирамидальные тополя. Синие горы на горизонте. Я возвращаюсь в свое отрочество.

Едем в город.

Пыльная серая зелень. Одноэтажные белые дома. Арыки с мутной водой.

Оперный театр. Нас пускают внутрь и показывают интерьеры (для ленинградцев открыты все двери). Изумительная резьба по ганчу. Архитектура середины прошлого века. (Строительство театра закончено после войны.)

Три часа дня. Аэропорт Навои (маленький белый домик на краю большого рыжего поля). Блеклое выгоревшее небо. Первозданная тишина Азии.

21.10

Показываем эскизы высокому начальству.

Директор комбината Зарапетян – восточный мужчина царственного облика. Он здесь самый главный – вроде эмира бухарского. Он здесь владыка. Органов советской власти в Навои еще нет (новый город-то).

Выслушиваем августейшую критику. Но в общем эскизы принимаются.

22.10

Утром к гостинице подъезжает маленький грузовичок. Залезаем в кузов и едем. Ехать холодно. Ветер свистит в ушах.

Останавливаемся в старом городе у продовольственной лавочки. Покупаем вермут и пьем его тут же, расположившись на пыльных ящиках. Перед нами неподвижно стоит подросток-узбек в халате и в тюбетейке. Он молча внимательно нас разглядывает.

Едем дальше.

Пустыня. Вдалеке – горы. Среди пустыни стоит портал со стрельчатой аркой. Рядом большой купол, до половины засыпанный песком. Это все, что осталось от знаменитого караван-сарая Рабат-аль-Малик, построенного в двенадцатом веке. Еще до войны здесь стояли высокие стены. Их уже нет.

Оазис. Тутовые деревья. Хлопковые поля. Задумчивые ишаки под деревьями. Останавливаемся и спрашиваем у старика-узбека о дороге на Хазару. Узбек со всеми здороваётся за руку и говорит: «Салам!» Мы по очереди отвечаем: «Салам!»

Хазара. Мавзолей. XIII век. Несколько куполов. Никаких украшений. Внутри – только узорчатая кирпичная кладка. Кирпичи плоские, желтые. Неподалеку от Мавзолея – могила местного святого. Небольшой купол и стрельчатая ниша. На длинном шесте болтается белая тряпица – знак святого места. Тут же колодец. Я наклоняюсь над ним, и ремешок фотоаппарата соскальзывает с моего плеча. Гулкий всплеск глубоко внизу.

Раздеваюсь, обвязываюсь веревкой, и меня спускают в колодец. Ногами, спиной и локтями упираюсь в стенки. Достигаю воды, Она холодная. Опускаюсь в воду до пояса, потом до подбородка, но дна все нет. Погружаюсь с головой и ногой подцепляю ремешок аппарата. Меня вытаскивают. Отжимаю трусы и бегаю, чтобы согреться. Шофер нашего грузовичка говорит, что я герой. Если бы увидели местные жители, они убили бы меня за осквернение святыни.

Едем дальше.

Пересаживаемся на маршрутный автобус.

Опять бесконечные хлопковые поля с тузовыми деревьями.

Длинная очередь машин с хлопком у приемного пункта.

Наконец – Бухара.

Узкие улочки с глинобитными домами без окон. Женщины в ослепительно ярких разноцветных платьях. Бородатые узбеки в синих и белых (вернее, серых) чалмах на маленьких, покорно семенящих ишачках. Перекресток нескольких улиц, перекрытый большим куполом. Под куполом множество мелких лавчонок. Продают всё – от пряников до мотоциклов.

Мечеть Калям. Минарет тринадцатого века. Зеленый глазурованный купол. На куполе гнездо аиста. Великолепный двор с аркадами. Он приспособлен для торгового склада: ящики, автомобили, мотоциклы. Маленькая рыжая кошка без задней ноги. Подошла и, мурлыкая, стала тереться о мою щиколотку. Снаружи у стен мечети – базар. Горы дынь и арбузов. Ишаки на привязи. Арбы с гигантскими колесами.

Старинный бассейн в тени деревьев.

Ночное шоссе. Ослепляющий свет фар встречных машин. Вырывающиеся из мрака деревья.

Черная пустыня под звездным небом. Далекие огни на горизонте. Они медленно приближаются.

23.10

Нас провожают человек десять. В буфете сдвигаем три столика вместе. Появляются зеленые бутылки с «московской». Водка теплая, противная. Закуска – знаменитый жареный усач – необычайно вкусная рыба.

Пьяные крики и тосты. Наши вещи тащат к самолету. Последние объятия и рукопожатия. Взлетаем. Внизу узор дорог и арыков.

Милая стюардесса Тамара. Мы влюблены в Тамару все эти полтора часа.

В Ташкенте пересаживаемся на Ил-18.

Снова в воздухе. Высота – 7 километров. Самолет трясется мелкой дрожью. В окне крупные звезды.

Просыпаюсь от голоса стюардессы: «Внимание! Самолет идет на посадку. Просим не курить и пристегнуть ремни. Посадка будет произведена в аэропорту Домодедово».

Полночь. Ждем автобус. Перед зданием аэропорта шоферы такси от скуки бьют двух пьяных. Бьют не очень зло, вполсилы, с хохотом.

Приходит милиционер, хватается за руки и ведет их куда-то по пустынной площади. Милиционер тщедушный, низкорослый, а пьяные – дюжие парни, но они не сопротивляются власти.

25.10

Читал у А. Возник спор. Вторглись в философию, дошли до высот. То и дело хватали мою книжку и читали куски для иллюстраций. Я не спорил, наблюдал.

Познакомился с Юрой Д. Он очень симпатичен. И умница.

«Русское кафе» на Мясницкой. Пусто. Играет музыка. Окна запотели – улицы не видно. Выпил стакан вина – стало тепло и весело. Стало ясно, что все не напрасно, что все именно так и должно быть. У швейцара роскошная черная борода. Его зовут Сергей Иванович. Подавая мне пальто, он сказал: «Сегодня вы первый! Счастливым будете!»

Кафе «Марс» на улице Горького. У входа – милиционер и две дружинницы с красными повязками на рукавах. Заведующая в белом халате прохаживается между столиками и внимательно следит за посетителями. Идет борьба с распитием приносимого с собой спиртного.

И вдруг – бунт. Посетители возмутились. Толпа окружила милиционера, дружинниц и заведующую: безобразие! Оскорбление человеческого достоинства! Мы не арестанты!

Одна из дружинниц, деликатная на вид девица, сказала басом: «Жрали бы водку дома и дрыхли с женами! А здесь общественное место!»

Спор с П. о сущности счастья.

– Я – счастливый человек! – заявляет П. и объясняет, почему он счастливый.

– А у меня жизнь не удалась! – заявляю я и объясняю, почему не удалась.

В конце спора мы пришли к выводу, что оба счастливы: П. – своим счастьем, а я – своим несчастьем.

27.10

У С. Сегодня ровно 15 лет, как он был арестован. Он помнит тот день до мельчайших подробностей. Он смотрит на часы и говорит, что с ним было в этот час 27 октября 1949 года.

О моих стихах С. сказал: «Это настоящее, хотя лет восемь тому назад я бы так не думал».

В пустом автобусе едем с Женькой в Шереметьево. Пустой ночной аэропорт. В самолете тоже пусто (неудобный поздний рейс).

Элегантная, надменная стюардесса произносит стереотипные фразы. Вздывают моторы. Сигнальные огни за окном мелькают все быстрее и быстрее. Опять внизу ночная Москва. Через минуту она превращается в россыпь далеких тусклых звезд. Через пять минут она исчезает. Под крылом появляется серп луны. Включаю лампу и читаю воспоминания Эренбурга о Нюрнбергском процессе.

Крыло за окном иногда немного опускается, и луна подскакивает вверх. Стюардесса разносит бокалы с минеральной водой.

«Прежде были в ходу слова “совесть”, “добро”, “человеколюбие”. Потом они всюду вышли из обихода».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.